

ДМИТРИЙ ХАУСТОВ

Allen Ginsberg

БЫТНИКИ

Великий
отказ,
или
Путешествие
в поисках
Америки

Jack Kerouac

William S. Burroughs

Дмитрий Хаустов

**Битники. Великий отказ, или
Путешествие в поисках Америки**

«РИПОЛ Классик»

2017

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Хаустов Д.

Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках
Америки / Д. Хаустов — «РИПОЛ Классик», 2017

ISBN 978-5-386-10028-5

Историк философии Дмитрий Хаустов приглашает читателя на увлекательную экскурсию в мир литературы бит-поколения. Автор исследует характерные особенности и культурные предпосылки зарождения литературного движения, флагманом которого стала триада «Керуак – Гинзберг – Берроуз». В попытке осмысления этого великого американского мифа XX века автор задается вопросом о сущности так называемой американской мечты, обращаясь в своих поисках к мировоззренческим установкам Просвещения. Для того чтобы выяснить, что из себя представляет бит-поколение как таковое, автор предпринимает обширный экскурс в область истории, философии, социологии и искусствоведения, сочетая глубокую эрудицию с выразительным стилем письма.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-386-10028-5

© Хаустов Д., 2017
© РИПОЛ Классик, 2017

Содержание

Декларация о намерениях	6
Введение: хвост кометы	8
Часть первая: полигон просвещения	21
Часть вторая: новое видение	38
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Д. Хаустов

Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки

© Хаустов Д. С., 2017

© Ильин В. Е., художественное оформление обложки, 2017

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017



Дмитрий Хаустов – историк философии, лектор, литератор. Автор лекционных курсов, посвященных классической философии, философии постмодерна, а также отдельным фигурам из мира литературы (О. Уайльд, Д. Джойс etc.)

«Я собираюсь рассмотреть историю бит-поколения, сюжеты, с ними связанные, а также – более пристально – портреты главных его персонажей и тексты, которые сделали их главными. А помимо и впереди всего этого я поставлю философский вопрос о том, что такое бит-поколение как таковое, то есть не просто большой агрегат историй, сюжетов, портретов и текстов, но то единство, та фундаментальная несущая идея, которая и собирает весь этот хаос разрозненных частей в единое целое большой культурной традиции – а в масштабах ее сомневаться не приходится. По существу, все, что последует дальше, будет претендовать на решение вот этих нехитрых, но занимательных задач – и дело за вами, чужие глаза, идти следом или лениво уйти в сторону».

Декларация о намерениях

Когда, открывая новую книгу, я сталкиваюсь с авторским предисловием, с навязчивой регулярностью звучащим как оправдание, как извинение или как покаяние, мне сразу же хочется закрыть эту книгу и никогда к ней не прикасаться. Поэтому я не стану повторять чужих ошибок.

У моей книги большая и щедрая тема, и мне было в высшей степени интересно по мере сил в ней разбираться. Для меня мой собственный интерес при написании ее является главным залогом того, что и при чтении ее может возникнуть похожее чувство. Смеем полагать, интерес заразен.

Я собираюсь рассмотреть историю бит-поколения, сюжеты, с ним связанные, а также – более пристально – портреты главных его персонажей и тексты, которые сделали их главными. А помимо и впереди всего этого я поставлю философский вопрос о том, *что такое бит-поколение как таковое*, то есть не просто большой агрегат историй, сюжетов, портретов и текстов, но то единство, та фундаментальная несущая идея, которая и собирает весь этот хаос разрозненных частей в единое целое большой культурной традиции – а в масштабах ее сомневаться не приходится. По существу, всё, что последует дальше, будет претендовать на решение вот этих нехитрых, но занимательных задач – и дело за вами, чужие глаза, идти следом или лениво уйти в сторону.

Коль скоро это призрачное место то ли в самом начале, то ли даже до начала текста будто бы специально создано для слегка шизофренического разговора с воображаемым идеальным читателем (пускай и без идеальной бессонницы), я воспользуюсь им ввиду пары откровений. Вот в чем их суть. Нижеследующее, по счастью, не претендует на научный статус, на значимость литературоведческого высказывания. Положа руку на сердце: я никогда не занимался и не занимаюсь наукой. И если мне позволено как-то характеризовать мой текст как будто бы для других, но на деле только для самого себя, то я бы определил его тональность сознательно нечетко. Скажем, это отчасти документальная проза, отчасти попытка свежего прочтения некоего корпуса текстов, то есть интимный дневник читателя, и, наконец, отчасти культурологический комментарий к нему.

Лучше всего, одним словом, относиться ко всему этому как к некой игре, каковой и является литература. Во всяком случае, сам автор, по его уверениям, относится к своему тексту именно так. В частности, он (то есть я) склонен рассматривать свой объект как *миф*, а не как определенный свод знаний, позитивно данный в текстах. Впрочем, об этом еще будет сказано.

Битники в США, как и многие другие в Европе той эпохи, как раз открывали в мире игровое, случайное начало, противопоставляя его репрессивной механике официальной культуры, или, по Шпенглеру, цивилизации – вырожденной формы чего-то некогда цветущего, живого, ныне выцветшего и умершего. Вопреки той цивилизации, которая в каждом своем изживе ритуально возвращается к *тому же самому*, ренегаты-битники, ведомые вечно юным духом протеста и противоречия, направлялись к вечно *иному*, отличному от глиняных порождений мейнстрима и пыльной позолоты официоза. Это делало их опасными тогда (и господин Эдгар Гувер, цепной пес цивилизаторской нормы, был сильно обеспокоен на их счет), это оставляет их опасными и по сей день.

Конечно, многое изменилось, и цивилизация изобрела новые техники апроприации всего ускользающего и девиантного. Так, старая-добрая наука, на навозе которой данная цивилизация – назови ее хоть Просвещением, хоть Модерном – и выросла, оказалась весьма кстати. Ведь наука действует по тому же самому принципу, что и полиция: иное она редуцирует до того же самого, а если редукция по тем или иным причинам не удастся, то иное

просто устраняется из существования, как не было. Так: бабочка – не уникальное существо, а представитель вида, индивид – не личность, а носитель определенных анатомических характеристик. Битники – не творцы, а свалка приемов. Наука любит указку, а еще больше – дубину.

Поэтому, если подходить к объекту индивидуально (или, как говорили в прошлом веке, идиографически), то, увы и ах, никакой науки. Мне хочется говорить с битниками прямо, не на казенной академической фене, а без особенных церемоний. Я не имел и не имею и мысли о том, чтобы кого-то к чему-то сводить, меня интересуют люди в их неповторимой единичности. Поэтому, если я вдруг и скажу, что бит-поколение – это нечто вроде американского неоромантизма, сдавшего рынку последние свои грезы, то не стоит принимать мои слова всерьез. Сказав такое, я разве что попытаюсь кого-нибудь подразнить. Кроме того, сказав такое, я сразу же должен буду сказать что-то противоположное: если А есть А, то А не есть А – положим, что это вполне очевидно.

Литература разбитого поколения, и нет нужды это скрывать, доставляет огромное удовольствие. Не меньшее удовольствие, хотя и чуть-чуть иного порядка, доставляет процесс письма об этой литературе. Соответственно, удовольствие от чтения этого «письма по мотивам письма» – вот верный признак того, что всё получилось как надо. Поэтому не будем слишком серьезны: битники являют собой маргинальную, игровую традицию в литературе, поэтому подходить к ним с ученым видом – это как использовать пацифистский знак на вывеске тира. Там он уместен разве что в виде мишени.

Интересного чтения.

Введение: хвост кометы

«В ритуальном или ином виде искусство содержало в себе рациональность отрицания, которое в наиболее развитой форме становится Великим Отказом – протестом против существующего. Формы искусства, представляющие людей и вещи, их пение, звучание и речь, суть формы опровержения, разрушения и преобразования их фактического существования. Однако, будучи связанными с антагонистическим обществом, они вынуждены платить ему определенную дань. Отделенный от сферы труда, в которой общество воспроизводит себя и свою увечность, мир искусства, несмотря на свою истинность, остается иллюзией и привилегией немногих.

Герберт Маркузе – «Одномерный человек».

Полвека спустя мир не очень-то изменился – я имею в виду, не изменился качественно, ведь сам принцип качественных перемен, непреложный для многих и многих умов не столь уж далекого прошлого, ныне нашел свое место на пыльной полке какого-нибудь палеонтолога. Умник из XXI века всё понял, он знает, что качество есть не более чем функция от количества, и человек вылупился из обезьяны просто оттого, что обезьяна очень много раз собезьянничала. Так или иначе, в мире по-прежнему идет глобальная война, которую при желании можно делить на многие-многие отдельные войны, а главные битники – практически до последнего – давно уже умерли.

Жив еще мало известный здесь Майкл Макклур – в этом самом году он выпустил книгу, как и все прочие его книги, не доступную на русском языке.

Жив еще Гари Снайдер – тот самый американский буддист Джефи Райдер, о котором написаны «Бродяги Дхармы».

Жива Диана ди Прима, одна из очень ограниченного числа дам в бит-поколении.

Жив, как ни странно, и Лоуренс Ферлингетти.

Амири Барака, он же Лерой Джонс, умер 9 января 2014 года в Нью-Джерси.

Питер Орловски умер 30 мая 2010 года в Вермонте.

Грегори Корсо умер 17 января 2001 года в Миннесоте.

Уильям С. Берроуз умер 7 августа 1997 года в Канзасе.

Аллен Гинзберг умер 5 апреля 1997 года в Нью-Йорке.

Джек Керуак умер 21 октября 1969 года во Флориде. Его называли Королем битников – The King of Beats.

*

«Это была экосистема, тесно переплетенная с употреблением большого количества наркотиков, истоки которой уходили в джаз и авангард, и корни плотно росли в традицию богемы»¹.

Они встретились совершенно случайно – или, положим, это была судьба, – и тут-то и началось всё самое интересное. Помимо всего прочего – а всё прочее, – это, в частности, секс, наркотики, преступления и слетевший с благопристойных катушек джаз вместо будущего рок-н-рола (для краткости буду обозначать этот комплекс «S, D & R» n»R»), – помимо прочего, один из них зарезал назойливого товарища и сбросил его от греха в Гудзон. Слу-

¹ Майлз Б. Бит Отель. Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957–1963. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. С. 88.

чай то или судьба, но тело товарища всплыло, и проблемы продолжились. Кто-то сел, кто-то сбежал или написал о случившемся книгу, кто-то убедился в нетрадиционности своих сексуальных предпочтений, но время всё равно собрало их вместе еще раз, потому что праздник должен продолжаться.

Систематически нарушая писанные законы и неписанные табу, они положили начало наиболее влиятельному творческому движению в послевоенной Америке, по размаху сравнимому разве что с трансцендентализмом, слава которого отгремела примерно за сто лет до них. Они оживили американскую поэзию и поэтизировали прозу, использовали в литературе, а то и в самой жизни, свежий и пылкий опыт бибопа, минимализма, экспрессионизма. В своей излишне консервативной культуре они еще прежде всякого Уорхола совершили, сами того не поняв, решительный скачок от модерна к постмодерну с его цитатностью, коллажностью и снятием всех запретов, деконструкцией художественных канонов и конвенций.

Они не мешкая смешали литературу с порнографией и самым пошлым бульварным чтивом, стали фигурантами самых громких цензурных разбирательств со времен своего предтечи Генри Миллера и превратились в официальный кошмар параноидально-маккартистских Соединенных Штатов Америки, удостоившись сомнительной, но лестной чести попасть в число личных врагов Эдгара Гувера, латентного гомосексуалиста и осовремененного инквизитора. Они тащили в родную культуру всё, что лежало плохо или лучше некуда: французский авангард и сюрреализм, русский футуризм, восточный мистицизм и дзен-буддизм...

А потом, не успев и оглянуться, они сами стали степенным мэтрами, которых без остатка растащили на цитаты ретивые эпигоны, о них сняли фильмы от самого низкого до самого высокого качества, о них написали все высоколобые академические исследования, которые можно было написать, и, наверное, за них давно раздали все доступные гранты. Слава одела их в бронзу еще при жизни, но в конце концов все умерли или скоро умрут – такие дела, как сказал бы Курт Воннегут, которому, правда, среди них места не было. Однако процесс интереснее результата, и они знали об этом лучше многих других. Да уж, бит-поколение – это вам не шутка. Это история. Это миф.

*

Именно так: *миф*, а не просто история (с другой стороны, где вы видели немифологизированную историю?..) Отсюда и до самого конца этой книги я намереваюсь описывать данный миф, с садистским наслаждением копать в его внутренностях – так что не говорите, что вас об этом не предупреждали. Поэтому для ясности сразу определю, что я буду понимать под мифом. Этот древнегреческий термин, в чем нетрудно убедиться самостоятельно, означает «слово», «рассказ». Миф и есть рассказ, но рассказ особый, с секретом, с ключом. Миф – это рассказ о себе, способ речевой саморепрезентации, о чем знал уже Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф, и тот же Виламовиц недвусмысленно отождествлял такой миф с поэзией. Рассказ о себе: сравни «Легенду о Дулуозе» Керуака – в конечном итоге легенду о Керуаке Дулуозе; Билла Ли, одновременно и персонажа и автора у Берроуза; неформальную интимность инстанции Я в поэзии Гинзберга... Возможно, это гуру Генри Миллер научил своих будущих адептов выстраивать литературу как полноценный миф о самом себе. Возможно, это просто витало в воздухе времени.

Значит, миф – это не рассказ ученого, который повествует об объектах восприятия и законах их существования. Это не рассказ литератора, который повествует о мире своего воображения, даже если последний имеет вполне реальные корни. Миф, в отличие от них всех, не различает самого себя и свой объект. Сам миф и есть свой объект, а вместе и субъект, поэтому центральным свойством мифа как репрезентации является неразличенность. Часто

именно это имеют в виду в тех случаях, когда называют миф центральной чертой дикарского сознания. Оно ведь дикое, непросвещенное, потому и неразличенное – дикарю невдомек, где он сам, а где его репрезентация. На деле же – призываю в свидетели Ролана Барта и многих других – миф является чертой *любого* сознания, нашего в не меньшей мере, чем дикарского. Дело вообще не в истории и не в просвещении, а в позиции, которую занимает рассказчик. В одной позиции он умница, а в другой позиции он дикарь, даже сегодня, даже сейчас.

В связи с этим человеку нетрудно быть и литератором, и мифологом – в один и тот же момент, но в двух разных позициях. Рассказывая историю, он вроде бы выдумывает некий художественный мир и отдает себе в этом отчет, но здесь же и тем же жестом он выписывает миф, рассказ о самом себе. Так один и тот же человек по имени Джек Керуак был литератором, потому что создавал художественный текст под названием «На дороге», но он же был и мифологом, потому что этим текстом он слагал миф о самом себе и своем разбитом поколении.

Пока что довольно теории – она еще будет тешить нас по ходу дела. Так как миф всегда уходит корнями в безвременье, то и у этой гонки нет своего собственного, определенного начала. Сама жизнь есть движение, а остановкой будет, очевидно, лишь смерть. Поэтому мы можем попасть пальцем в небо – и угадать самую суть. Мы можем оказаться где-то в сороковых, когда бит-триумвират (то есть Гинзберг, Керуак и Берроуз) сошелся в Колумбийском университете, или где-то в пятидесятых, когда одна за другой в течение четырех лет вышли три книги, бросившие американскую литературу, как залежалый камень, в самом неожиданном направлении. Хотя мы можем – и кто нас остановит? – оказаться где-то рядом с блаженным Уитменом в его совсем еще юной Новой Англии, а может быть, в точке рождения английского языка – или рядом с Адамом Кадмоном, дающим вещам имена. Мы можем оказаться где угодно, и это будет точное попадание, ведь у этой гонки нет начала, и сама жизнь есть движение, динамика мифа. Сказать, что всё кончено, а мы смотрим на мертвый остаток бывшего живого события с безопасного аналитического расстояния, не получится. Всё продолжается, всё идет своим путем, своей дорогой. С нас будет довольно, если мы схватим комету за хвост – и насладимся поездкой.

Фактически заканчивается 2016 год, и мало что в его пыльном воздухе напоминает о некогда славном разбитом поколении. Не так давно имели место важные в истории битников юбилеи: полвека с момента выхода поэмы Гинзберга «Вопль», следом полвека с момента выхода основополагающего для всего поколения текста «На дороге» (они были изданы в 1956 и 1957-м соответственно; в 1959-м появился «Голый завтрак»). Не сказать, чтобы по нашу сторону Атлантики эти события были особенно заметны. Несколько позже до нас добрались художественные фильмы, один за другим, призванные будто бы обновить проблематику и поднять новую волну забытой моды на битников. Не могу судить, добились ли они чего-то похожего, ибо фильмы особенно ничем не выделялись, кроме того, что американская политкорректность обязала создателей одного из них содомизировать отставного Гарри Поттера почти что на крупном плане. В остальном ничего особенного.

С какой-то подозрительной регулярностью у нас издается и переиздается Джек Керуак, и, хотя он по-прежнему не переведен в полной мере, мы обладаем почти что достаточным корпусом его основных текстов на русском языке. Страшно представить, кто всё это читает. Мода на беспредельщика Уильяма С. Берроуза, кажется, давно прошла, и теперь его книги довольно непросто отыскать. Видимо, все всё давно прочитали и поняли – и правда, в прозе Берроуза от текста к тексту мало что меняется, поэтому или наслаждайся, или поди прочь. Ни одного полноценного сборника Аллена Гинзберга на русский язык переведено не было. Не лучше дело обстоит со всей прочей бит-поэзией – видимо, поэзия как таковая на особом счету, и проще переводить ширпотребный нон-фикшн про красивую жизнь. Здесь я буду ссылаться на поистине фундаментальный сборник, выпущенный у нас довольно давно леген-

дарным издательством «Ультра. Культура» Ильи Кормильцева – я говорю об «Антологии поэзии битников», где, помимо Гинзберга, представлены прекрасные переводы из Ферлингетти, Корсо, Снайдера, Макклур, Ди Примы, Орловски, Уэлча, Ламантиа, Крили, Данкена, Амири Бараки, Кауфмана и, в дополнение, Керуака, который тоже писал что-то вроде стихов. Достать эту книгу в качестве вещи теперь едва ли возможно, да и кто будет ее переиздавать, но Интернет полнится чудесами, и не мне вам об этом рассказывать.

В целом же я не рискну сказать, что ныне бит-поколение особенно трогает сердце русскоязычного читателя. Той актуальностью, которой всё это обладало когда-то для Бродского или для Евтушенко, для нас исполнены совсем другие вещи. Я склонен усматривать в этом пробел и проблему: всё это значит, что тот специфический опыт, который был прожит, понят и выражен авторами бит-поколения, нами усвоен не был. Это тем более грустно по двум причинам. Во-первых, этого нам не заменит какой-то другой, наш-де специфический и национальный опыт. Опыты – не монета, чтобы обмениваться друг на друга, они всегда единичны и абсолютно оригинальны. Поэтому тот, кто стремится к познанию, является настоящим интернационалистом – он знает, что нет разделения на свое и чужое там, где речь идет о подлинно человеческом. Во-вторых, опыт бит-поколения есть опыт движения к тому состоянию постмодерна, в котором мы все, похоже, застряли на неопределенный срок, и игнорировать его – значит отказываться от рефлексии на тему того, как же мы все оказались в этой западне и что нам с этим делать.

Впрочем, всё это довольно условно. Главное, что мы имеем дело с чертовски хорошей литературой, и этого должно быть более чем достаточно.

*

Разговор о мифе бит-поколения, чтобы отличаться от пустопорожнего пересказа этого мифа, должен учитывать несколько уровней объективации – в пределе их может быть довольно много, но нам достаточно остановиться на трех. Всякий миф предполагает вписанность его в фон большой истории, далее – в ситуативный контекст, наконец, он предполагает ту или иную форму своего выражения. Разложив по этим трем уровням миф бит-поколения, мы получим три направления пути: битники и Америка вообще, битники и американская послевоенная городская культура, битники и литература, как американская, так и мировая. Чтобы разметить территорию, двинемся по порядку.

Америка. При все своем бунте против традиционных ценностей, бит-поколение при первом же приближении оказывается строго национальным явлением, вписанным в американскую культурную и историческую традицию. И дело не только в том, что Гинзберг немыслим без Уитмена, Керуак – плоть от плоти уже позабытых повествователей о старателях и героях фронта, не говоря уже о динамическом гимне по имени «Моби Дик», Берроуз же не скрывая того наследует дешевой приключенческой литературе и массовой культуре вестернов, гангстерских историй и комиксов. Дело скорее в том, что чисто американским и в этом неповторимым) является *опыт нового человека на новой земле, Нового Адама* с обновленным телом и чистой безгрешной душой, избранного среди всех прочих детей этого мира и стоящего один на один с сокровенным Богом, опыт завоевания Царства Небесного на земле, обретения Царства Целей – в невиданных доселе условиях равенства, защищенности, всеобщего и освобожденного труда, справедливого воздаяния по закону и торжества индивида с его правами и обязанностями. В этом смысле Америка есть все сны Европы за все времена, собранные воедино и в один прекрасный день отправленные в некой бутылке за океан прорасти на сказочно плодородной почве. И оба эти момента – момент филиации и вместе с тем момент разрыва – являются конститутивными и необходимыми для американского опыта исторического существования.

Пускай Европа и чувствует себя немного обобранной в лучших своих начинаниях, она не может не радоваться, пусть даже скрывая это, тому, что новый хозяин мира с самой большой дубиной корнями всё-таки европеец. Житель Соединенных Штатов, в свою очередь и при всем своем солипсизме, не остается безучастным к судьбам Старого Света, потому что на уровне инстинкта ощущает тихое, но всё-таки что-то отчетливо нашептывающее родство. Ну да, тут еще деньги и власть... Это похоже на молодого карьериста, уехавшего в большой город из своей родной деревеньки: хоть в городе бурная жизнь и так хочется забыть о чумазом прошлом, но сердце порою болит о том, как там забытые старики да родное гумно.

Одним словом, это американское новое является и хорошо забытым европейским старым – поэтому собирательный образ американского писателя немыслим без обязательного и часто долгосрочного путешествия на историческую прародину, в какой-нибудь Париж или, реже, в Лондон. Поэтому, аккумулируя базовые американские мифы, бит-поколение по необходимости должно отсылаться и к более древним европейским, даже индоевропейским архетипам. Попытка, скорее всего бессознательная, удержаться на пике этой двойственности – наследования и разрыва – создает продуктивное и вместе с тем деструктивное напряжение как среди битников, так и во всей американской культуре, в иные моменты оборачиваясь проблемой, в иные – удачей.

Многое из того, что встретится нам впоследствии, будет построено на этом «двуличии», точно у архетипического Януса, и вряд ли кому-то удастся так уж легко, схватившись за волшебную палочку диванной диалектики, разрешить это сущностное противоречие. Здесь же нам важно зафиксировать следующее положение: понимание бит-поколения движется в русле понимания Америки, а эта дорога может завести далеко – дальше, чем хватит нашего взгляда.

Послевоенная ситуация. Бит-поколение, как и любой феномен природы и культуры, имеет свое место и свое время, хотя кто-то решит, что всем им место в вечности. Место – это большой американский город с его инфраструктурой и индустрией, с его пестрящим социальным расслоением, с его всепобеждающей холодной рациональностью и непреодолимым отчуждением. Это Нью-Йорк, это Денвер или Сан-Франциско, топос, наметанный по живому, расчерченный грифелем цивилизованного разума на карте репрессированного мира природы, мира поруганного естества, отныне обреченного служить для города-гегемона или верхарновского города-спрута чем-то сродни бессознательному, двойнику или тени, в которых как в долгом ящике собраны сказки, желания, страхи и бред позднего городского жителя.

Время же – после Второй мировой войны, для кого-то Великой и Отечественной, для кого-то, как для американцев, не такой уж и значимой *исторически*, однако предельно успешной *коммерчески*, если рассчитать соотношение прибыли в валюте и потерь в солдатах. Соединенные Штаты малой кровью завоевали большое господство. 1940-е и 1950-е годы – не позже, когда культурный и политический ландшафты вновь меняются, заноса в свой бестиарий совсем другие движения, течения и направления, приливы которых не оставят от битников и следа. Но пока что, в 40-х и 50-х, тянется сытое время, охваченное своей, тоже сытой, паранойей – время победы среднего человека из среднего класса с его средним телевизором, средним автомобилем и очень средним пригородным домом. Мир обывателя, мир цивила (square), цивилизация бэббитов – по имени собирательного персонажа Синклера Льюиса. Вотчина милого президентствующего генерала Эйзенхауэра, старины Айка, рай для так называемого молчаливого поколения, вооруженного микроволновками и телевизорами. Как говорит режиссер Джон Уотерс в документальном фильме о Берроузе «Человек внутри», «1950-е – это худшее время, потому что ты должен был быть, как все».

Торжествует нормальная американская семья с ее нормообразующими ценностями, а на высоком политическом уровне зеркалом их выступает та идеология, которую эти вассалы бессмертной нормы оказываются в состоянии понять и принять. Совсем по-хозяйски

чувствует себя пронырливая цензура и железные моральные ориентиры, а также, к примеру, сенатор Маккарти и Эдгар Гувер, которые превращают внутреннюю политику страны в полигон холодной войны и насаждают старую добрую тактику охоты на ведьм по всем стратам американского общества. Само собой, в советской идеологической историографии было принято изрядно преувеличивать все сатанинские кошмары той эпохи (по принципу «чья бы корова»), но приятного там, право же, было мало. На тех моих либеральных соотечественников, которые и до сих пор полагают, что в те времена плохо было только в Советском Союзе, американский интеллектual тех лет посмотрел бы с презрением как на идиотов – они и есть идиоты, поэтому я жму руку американскому интеллектualу.

«Вторая мировая война и время Великой депрессии остались позади, и Америка пришла в движение. Окраины городов повсюду застраивались домами. Новые машины со сборочных конвейеров скатывались на новенькие тротуары. В целях обеспечения национальной безопасности были построены системы магистралей, соединяющих штаты и протянувшихся от одного океана до другого. Обеды из полуфабрикатов, презентация которых состоялась в 1953 году, появились в каждой духовке.

“Отличная жизнь, правда, Боб? – произносит мужчина из рекламы 50-х годов, где молодая чета со своим сыном, у которого волосы торчат как пакля, сидит на диване и смотрит телевизор. А завтра будет еще лучше, и у тебя, и у всех людей”². Всё это, как бы там ни было, культура – и отсюда нетрудно понять, почему с приходом на авансцену мятежного бит-поколения в моду входит термин «*контркультура*». Действительно, можно было бы взять нормального американского обывателя той поры, эдакого квадратного Бэббита, ко всем его стандартным характеристикам прибавить отрицательную частицу и получить типичного битника. Там, где нужно было чтить Христа, битник обращался к буддизму. Там, где коммунизм объявлялся главным пороком рода человеческого, битник считал себя последователем Маркса или Троцкого (но не Мао – этим промышляли только во Франции). Там, где нужно было заниматься спортом, битник пил и употреблял наркотики (хотя вслед мог и позаниматься спортом, с него могло стать – S, D & R» n»R & S). Там, где социальным идеалом выступала крепкая семья, битник уходил в оголтелый промискуитет или чего доброго предавался богомерзкому содомскому греху, который среди деятелей бит-поколения миновал только избранных (Грегори Корсо вспоминает, как он обрадовался, узнав, что Джек Керуак – не гей). Там же, где дядюшка Сэм пророчил тебе прочную карьерную лестницу, где национальным героем считалось что-то вроде новоявленного президента США Дональда Трампа, ты, будучи битником, угонял машину и рвал побираться в какие-то богом забытые южные штаты, пропахшие потом, пустыней и местной сивухой, без царя в голове и без синицы в небе. Словом, битники были настоящими детьми своей эпохи – с той оговоркой, что у них повелось всё-всё делать наоборот. И хотя в нашей культуре с легкой руки одного питерского музыканта корейского происхождения под битником понималось нечто в туфлях на манной каше, в двубортном пиджаке отдающее душу за рок-н-ролл, всё-таки этот образ самую малость неточен, пускай в нем есть какой-то сущностный нерв...

Литература. С ней в Америке свои, особенные и подчас драматические отношения. И здесь, конечно, работали неизбежные законы филиации, и здесь американцам приходилось иметь дело с неотъемлемым и свершившимся фактом европейской культурной традиции, но ведь литература – особая область, в которой более прочего сильна *негативная инстанция воображения*, о которой речь впереди, инстанция, рассматривающая всякое наследие и вообще любую данность как то, что должно быть преодолено и уничтожено. И пусть некоторые критики даже в конце XIX века рассматривали американскую литературу исключи-

² Де Грааф Д. Потребляество: Болезнь, угрожающая миру. – М.: Ультра. Культура, 2003. С. 49–50.

тельно через призму литературы европейской³, всё же именно XIX век стал для американских писателей точкой зарождения совершенно особенной и неповторимой национальной традиции.

Когда-нибудь будет сполна осмыслен тот мистический факт, что рождение американской литературы и появление битпоколения разделяет ровно один век. В 1841 г. Ральф Уолдо Эмерсон выпускает первый том своих «Эссе». В 1850 г. Натаниэль Готорн публикует «Алую букву». Герман Мелвилл пишет совершенно новый, оригинальный *американский* роман «Моби Дик» (1851 год), аналогов которому просто нет в европейской литературной традиции, Эдгар Аллан По создает оригинальный американский рассказ – и, что беспрецедентно, теперь уже европейцы, например в лице неистового Бодлера, почитают за честь подражать американцам, а не наоборот. Под неоспоримым влиянием классической европейской философии, но с решающим и опять же неоспоримым значением местного национального опыта возникает первая собственно американская философская школа – я имею в виду трансцендентализм, центрированный на Эмерсоне и Торо (в 1849 г. он публикует нашумевшую брошюру «О гражданском неповиновении», в 1854 г. свой эскапистский шедевр «Уолден, или Жизнь в лесу»). Уолт Уитмен совершенно сознательно работает над тем, чтобы заложить основания для оригинальной – демократической, как он говорил, – американской поэзии, в корне отличной от структурированной, иерархичной, дисциплинированной и сдержанной, «феодальной» поэзии старой Европы, и, при многих возможных оговорках и возражениях, ему это удается (сборник «Листья травы» появляется в 1855 г., ровно за 100 лет до эпохальных чтений в Шестой Галерее, о которых ниже).

Словом, в 50-х годах XIX века, за один век до битников, рождается самобытная американская литература, возникают ее собственные характерные черты, ее базовые приемы, тенденции и направления. Будем здесь называть это событие *первой волной* американской литературы. В начале XX века эта волна не то чтобы разбивается о некие скалы, но довольно существенно изменяет свою изначальную структуру. Юное, энергичное и оптимистическое формотворчество сменяется часто холодным, местами тревожным движением самокритики и ревизионизма. И хотя советская научная литературоведческая продукция ныне во многих местах воспринимается скорее с юмором, нежели с энтузиазмом, всё-таки стоит признать, что правоверные (или просто лукавые) марксистские критики угадывали верно: американская литература в XX веке сильно левеет, уходя от, скажем чуть архаично, формализма по направлению к остросужетной содержательности, основанной на реалиях тяжелого быта низов американского общества.

Это значит, говоря проще, что литература того периода становится рефлексивнее и критичнее, но сильно теряет в технике, стиле и художественном новаторстве. Безусловно, О. Генри, Джен Лондон и Теодор Драйзер – замечательные авторы, к тому же любимцы не к ночи упомянутых советских критиков, однако с точки зрения собственно *литературной* они не приносят в американскую традицию ничего нового, а во многом, напротив, сдают давно завоеванные ею позиции.

Отвоевать их обратно пытаются молодые писатели-модернисты, которые откровенно ориентируются на Европу, которые учатся у Джойса и авангардистов, которые, таким образом, вынуждены повторять тот опыт усвоения европейской меры, который был характерен

³ Результаты тогда оказывались плачевными. Так, пристрастный и язвительный Кнут Гамсун с наслаждением ездит по американской литературе дюжим катком. «Уитмен и Эмерсон были выбраны как лучшие представители литературы своей страны – и это вряд ли делает Америке безусловную честь, ибо один из них – невинный поэт, другой – автор литературных проповедей» – Гамсун К. О духовной жизни современной Америки. – СПб.: Владимир Даль. С. 109. – «Ральф Уолдо Эмерсон – самый значительный из мыслителей Америки, выдающийся критик и оригинальнейший писатель; все это, впрочем, не соответствует титулу самого выдающегося мыслителя, критика и писателя в какой-нибудь из крупных европейских стран» – Там же. С. 76–77.

для пионеров американской словесности почти 100 лет до этого. Великая литература 1920-х годов в лице, для примера, Хемингуэя, Фицджеральда, Фолкнера (обособленного, правда, более прочих), Томаса Вулфа и других совершает движение синтеза современных модернистских тенденций, в хвосте которых американская литература оказалась в начале XX века, с той совсем недавно выработанной рефлексивностью социального критицизма, который берет начало еще в лучших образцах прозы Марка Твена и достигает у Драйзера своего пика⁴.

Назовем это движение *второй волной*, но укажем, что, в отличие от первой волны, оно скорее явление кризисное, в гораздо меньшей степени спокойное и самобытное, в гораздо большей – лихорадочное и европейское, что выражается хотя бы в том, что американские авторы не сидят на месте и значительно лучше чувствуют себя именно в Европе, нежели в родных Штатах. Поэтому, несмотря на безусловно великие имена, я нахожу этот период в истории американской литературы скорее трагическим и упадочным, нежели грандиозным и прогрессивным (каковой та же эпоха оказалась для европейского и русского искусства).

Отчасти и судьбы самих писателей подтверждают этот печальный диагноз. Фицджеральд спивается и умирает в 1940 году от того, что его талант был растрочен на банальные коммерческие проекты. Почти то же самое сводит в могилу Фолкнера (умирает он, правда, значительно позже, в 1962-м), продавшему душу всесильному и в свою очередь совершенно бездушному Голливуду, культивировавшему конвейерный ширпотреб с мощью и темпами, умопомрачительными даже для такой сверхиндустриальной страны, как США. Хемингуэй кончает с собой (1961) от того же бессилия, которое пропитывало все ранние и лучшие его сочинения, – от бессилия человека невероятной силы, растрачиваемой в пустоте того лунного мира, который стремительно и беспощадно расправляется со всеми человеческими смыслами. Томас Вулф, которому будет подражать молодой Джек Керуак, трагически гибнет в 1938 году всего-то 37-летним.

Вторая волна, как оказалось в итоге, накрыла сама себя, оставив по себе только белую пену, хранящую свежие воспоминания о неистовом бешенстве. Из этой пены, подобно странной постмодернистской Афродите, явится новая, никем особенно не ожидаемая традиция. Так, ко времени *третьей волны*, которая и возникает в 1950-е годы и которой посвящена эта книга, живой традиции в американской литературе, собственно, не было. Между второй и третьей волнами зияет безмолвный разрыв. Однако я бы хотел обратить здесь внимание на одну в высшей степени значимую переходную фигуру, которая, как мне кажется, позволила этой традиции снова возникнуть на американском культурном пространстве. Я говорю о Генри Миллере, которого я нахожу подлинным крестным отцом всего литературного бит-поколения.

Именно Миллеру удалось сохранить в подлинной целостности синтез самой передовой европейской культуры и специфически американского стиля, и не только сохранить (и передать дальше), но и оригинальным образом переработать и наполнить своей колоссальной витальностью, игрой исключительных жизненных сил, *vis vitalis*. Будучи настоящим американцем, Миллер хотел и умел учиться у Европы самому важному и самому сложному – он вобрал в свой объемный опыт современную философию, авангард, сюрреализм и многое другое, сохраняя при этом чисто американское чувство фрагмента, детали, движения. Бла-

⁴ Я умышленно умалчиваю имена Паунда, Элиота, Гертруды Стайн. Бросается в глаза, что все они – эмигранты, сделавшие свой выбор не в пользу родной Америки, которую по большей части не любили, но в пользу Европы, которая дала им живую традицию – будь то традицию прошлого, как то греческие лирики, Данте, трубадуры, или традицию настоящего, как то футуристы, кубисты, сюрреалисты. Поэтому я, конечно, *mutatis mutandis*, предпочитаю судить об этих фигурах как о явлении европейского модернизма. Их отрыв от американской традиции слишком существен, чтобы делать вид, будто его нет. Но в то же время нельзя забывать, что модернисты эти имели большое влияние на своих американских наследников, как то Уильям Карлос Уильямс и многие другие, не говоря уже о том, что, к примеру, Хемингуэй является прямым учеником Гертруды Стайн.

годаря всему этому Миллеру удастся создать целое, а в то же время по-прежнему фрагментированное и мозаичное мировидение, главные черты которого я попытаюсь кратко сформулировать далее⁵.

Миллер, как и грядущие битники, начинает свой путь с отрицания той наличной данности, которая заложила основы его жизненного мира, – данности опыта средней американской жизни в Нью-Йорке, также родине бит-поколения (Миллер был уроженцем Бруклина). Данность современной Америки значительно позже будет обыграна Миллером в образе всемогущественной Космодемонической Компании: «Компания создана усилиями людей и на первый взгляд должна подчиняться их воле. Однако этого не происходит: она становится частью цивилизации, пространства „материализованного разума“, отчужденного от жизненного потока, и обретает свои, отличные от человеческой воли цели. Человек не может ею управлять по своему произволу: даже если он ею формально руководит, все равно ее логика направляет и контролирует его решения. В результате все служащие компании, не только мелкие, выполняющие предписания руководства, но и сами руководители, становятся рабами компании, шестеренками огромной индустриальной машины...»⁶ Этот мир инструментализированного отчуждения, в котором человек перестает быть кантовской целью в себе и превращается в голое средство, овеществляясь, отталкивает Миллера и подвигает его к поиску иного опыта и иного мира.

Еще до создания первых своих значимых текстов он открывает для себя преимущественно европейскую литературную и философскую традиции, по сути оппозиционные к сложившемуся к 20-м годам XX века американскому образу жизни, как оппозиционной к нему была и предшествующая американская литература в лице Эмерсона, Торо, Уитмена, также значительно повлиявших на Миллера в его жизни и в его творчестве. Этот ранний опыт отрицания своего времени и своего места приводит Миллера в 1930-е годы в Париж, вчерашнюю столицу мира. Живя впроголодь и не имея собственного угла, Миллер, тем не менее, ощущает себя счастливым и преисполненным жизни – это чувство и воплощается в энергичный, танцующий и избыточный текст его парижских романов «Тропик рака», «Черная весна», «Тропик козерога» (соответственно 1934, 1936 и 1939 годы).

Тексты эти свидетельствуют о том, что Миллеру больше по нраву считать себя европейцем, а не американцем, скорее человеком культуры, нежели человеком цивилизации, если использовать шпенглеровскую дихотомию. Он склонен одухотворять природу на манер Руссо, немецких романтиков и американских трансценденталистов (также учившихся у Европы). Он запросто говорит о гении, уже тогда и ныне совершенно неприличной вещи, об иерархиях и превосходстве одних людей над другими, об абсурдности и апориях так называемого равенства. В демократическом опыте, в отличие от оптимизма Уитмена, ему открывается не иначе как опыт обезличивания и десубъективации, трусливого слабОВОЛЬНОГО бегства от самого себя. Наконец, он рад наплевать на дряблую пуританскую мораль и догматические христианские ценности – одним словом, тексты Миллера были долгое время запрещены в США вовсе не просто так, а, как могло бы представиться нормальному американскому гражданину, вполне заслуженно – как тексты, всецело враждебные данной культурной норме. Но вместе с тем не могу не отметить, что во всех своих антиамериканских демаршах Генри Миллер всё же остается американцем, человеком своей культуры и своей истории. Так, он настоящий индивидуалист, каких мало в Европе. Он искренне верит, что частное возвышается над общим, а не наоборот – вопреки всякому консерватизму и магистральной линии европейской метафизики, всегда полагавшей как данность обратное отно-

⁵ Пионером в широкой популяризации Миллера в нашей стране выступает Андрей Аствацатуров. Я с удовольствием отсылаю интересующихся к его филологическим работам.

⁶ Аствацатуров А. Генри Миллер и его «парижская трилогия». – М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 281.

шение (в этом смысле понятно, почему главный философский авторитет для Миллера – это Ницше⁷, а не, скажем, Гегель; в «Книгах в моей жизни» Миллер также указывает, что не теряет надежду когда-нибудь прочитать «Сумму теологии» Фомы Аквинского, – мне хочется верить, что он ее так и не прочитал, а вместо нее ознакомился, скажем, с «Суммой атеологии» Жоржа Батая).

Миллер мыслит, пишет, живет подчеркнуто фрагментарно, разорванно, в полном соответствии с лоскутным американским ландшафтом, столь важным для становления американской литературной традиции, – это подчеркивал, в частности, Жиль Делез, любивший сослаться на Миллера в своих не менее мозаичных текстах. Миллер, конечно, ловкач, хитрец, фокусник, в душе деловой человек, всегда умевший устроиться, выжить, найти свою выгоду, и это чудесно, потому что именно эти навыки сохранили нам его тексты, к тому же они наполнили их неповторимым, смешным и чисто американским деловитым фиглярством (похожим образом романтик Торо, покинув отвратительную механистическую цивилизацию, одержимую жаждой наживы, дотошно, подробно в своем «Уолдене» высчитывает суммы, в которые ему обходилась бы его свободная, природная жизнь, – этого парадоксального сочетания искреннего романтизма и деловой хватки настоящего янки нет, пожалуй, более нигде в мире).

Битники сохраняют и приумножат миллеровский американский индивидуализм и мозаичную картину мира, как и его страсть к европейскому авангарду, его предпочтение культуры в противоположность цивилизации. Позаимствуют они и ярко выраженный игровой принцип, которым у Миллера пронизано как его творчество, так и вся его жизнь: «Удовольствие, получаемое от игры, вызвано ощущением свободы, которое рождается благодаря отсутствию репрессии со стороны культуры. Если культура выдвигает принцип реальности, предписывая личности социальную роль, сводя ее тем самым к функции, то игра возвращает человека к самому себе, выводя его из культурного контекста. Целью человеческой жизни, заряженной импульсом игры, становится не что иное, как сама человеческая жизнь. Личность обретает самотождественность и, следовательно, свободу».⁸

Принцип игры, вопреки принципу рациональности, открывает потенции человеческой свободы, уводя человека от царства необходимости, закона и формы. Игра обнаруживает свободу через движение, через динамику, через фантазию и сексуальность, которая тоже ведь амбивалентна: с одной стороны – биологическая необходимость, с другой стороны – удовольствие и экстаз. Пожалуй, в американской литературной традиции именно проза Миллера вела к настоящей сексуальной революции, наряду с европейской левой рецепцией психоанализа у Вильгельма Райха, затем у перебравшегося в США Герберта Маркузе – с ними мы еще встретимся.

Сексуальные эскапады битников, в том числе эскапады чисто литературные, немислимы вне влияния Миллера. Это влияние трансформируется в определенный образ жизни, в представление о мире как об игровой площадке, о существовании как *удовольствии*, как динамичном и ничем не регламентированном *путешествии*. Правда, мир Генри Миллера гораздо светлее и оптимистичнее мира битников, ибо он человек куда более цельный, традиционный и крепкий. К примеру, у него совершенно отсутствует завороченность нарко-

⁷ «И Ницше, и Миллер, стремившиеся каждый по-своему преодолеть человека ради сверхчеловека, ставили перед собой задачу преодолеть и слово, подобраться к сфере, предшествующей всякой речи, актуализировать в слове избыточную, здоровую, богатую жизнь, подведя само слово к гибельной крайности. Они ставили задачу избавить слово от диктата диалектического разума, от запретов, от морали рабов и от необходимости фиксировать известное, имеющееся. В результате слово в их текстах осуществляет прорыв к невозможному, открывая новые перспективы жизни. Оно исполнено презрения к духу, сознанию, субъективности и ко всему, что отрицает противоречивость. Сохранение ощущения противоречивости жизни, ее нелогичности, непоследовательности требует преодоления субъективной, окончательной, одной-единственной точки зрения». – Там же. С. 69.

⁸ Там же. С. 142.

тиками или алкоголем, он не склонен к саморазрушению, и гомосексуализм (как и прочие неклассические сексуальные практики) как-то обошел его стороной. Зато он, как позже и битники, испытал решающее влияние самого главного культурного европейского течения тех лет, *сюрреализма*. В заключение я скажу о нем несколько лестных слов.

Я полагаю, сюрреализм оказался столь значимым и влиятельным художественным и философским течением своего времени потому, что ему удалось дать последний *большой синтез*, которого на тот момент так не хватало миру разнородного, необобщаемого, предельно индивидуализированного авангарда и, больше того, модернизма. В русле высокого модернизма друг с другом встречаются фигуры, которые сами по себе – эпохи, и жанры, и течения; фигуры-острова, фигуры-горы, – поэтому объединение их в одну рубрику кажется то ли условным, то ли нелепым. Перед нами предстает мир Джойса, мир Кафки, мир Пруста – и что у них общего, кроме, собственно, гениальности?

Сюрреализм, в свою очередь, предложил свою единую концептуальную платформу, за счет чего и вырос в большое течение, объемлющее настолько различные фигуры, как Бретон и Арто, как Арагон и Батай. И хотя многие из них, как те же Арто, Арагон и Батай, в разное время превращались в отступников и еретиков, я полагаю, что та же самая общая платформа по-прежнему, хоть и неявно, определяла их творчество.

Сюрреализм, как сказано, держится на большом синтезе – реального и нереального, в их совмещении – *сюрреального*, то есть *более чем реального*. Сюрреалист обнаруживает, что так называемая реальность – это не всё, но лишь некий осколок гораздо более полного, сложного и насыщенного мира, который объемлет и сны, и фантазии, и бред, и телесность – словом, всё то ненормальное, случайное, перверсивное и поруганное, что в Новое время было жестоко подавлено и выброшено на обочину просвещенной цивилизации. Таким образом, в сюрреализме со всей очевидностью обнаруживает себя *ренессанс романтизма*⁹, но уже в новой, специфической ситуации XX века.

Сюрреалист открывает, что исключенное не ослаблено и не мертво, что оно продолжает существовать в скрытом виде и прорывается в нас через многочисленные лазейки, одновременно принося с собой боль подавления и усвоенное нами извне чувство вины, как всё это было у предтеч и учителей сюрреалистов маркиза де Сада, Бодлера, Рембо, Лотреамона, Захер-Мазоха, Фрейда и Аполлинера. И не только – не могу удержаться от того, чтобы привести здесь одну пронизательную цитату из Вальтера Беньямина: «В 1865–1875 годы несколько великих анархистов, не зная друг о друге, трудились над адскими машинами. И вот что удивительно: независимо друг от друга они поставили часы ровно на одно и то же время, и через сорок лет в Западной Европе взорвались творения Достоевского, Рембо и Лотреамона. Из совокупности романов Достоевского для наглядности можно извлечь всего только один отрывок, полностью опубликованный лишь в 1915 году: „Исповедь Ставрогина“ из „Бесов“. Эта глава, теснейшим образом связанная с третьей из „Песен Мальдорора“, содержит оправдание зла, выражающее определенные мотивы сюрреализма так мощно, как это не удалось ни одному из его нынешних выразителей. Потому что Ставрогин – сюрреалист *avant la lettre*. Никто лучше него не понял, как наивно представление буржуа, что добро, при всех его человеческих достоинствах, только от Бога; зло же – только от нас, в нем мы независимы и исходит исключительно из себя самих. Равным образом никто, кроме него, не распознал в самом низменном поступке, и именно в нем, источник вдохновения. Он уже видел в подлости нечто столь же свойственное как миропорядку, так и нам самим, столь же в нас заложенное, если не заданное, как то, что буржуа-идеалист видит в добродетели.

⁹ Это существенно отличает сюрреализм от других модернистских направлений, таких как имажизм, футуризм, объективизм – в этих течениях, напротив, романтизм подвергался негации и последовательной деконструкции, целями которых выступали вместе десубъективация творческого процесса и обнаружение чистого, объективного предмета, поиск которого объявляется подлинной задачей искусства.

Бог Достоевского создал не только небо и землю, людей и животных, но и подлость, месть, жестокость. Тут он тоже не позволил дьяволу приложить руку. Потому-то все это у него тоже истонное, и если не „прекрасное“, то вечно новое, „как в первый день творения“, далекое, как небо от земли, от клише, каким филистер представляет себе грех»¹⁰.

Уже Ставрогин, крестный отец сюрреализма, значит, *дедушка битников*, кое-что понял насчет неизбежного возвращения вытесненного. Осознав его силу, сюрреалист стремится вернуть себе это вытесненное, высвободить тот колоссальный ресурс, который тайно определяет человеческую жизнь, будучи скрытым во мраке бессознательного, он стремится совершить великий синтез разума и неразумия, столь же реального, мощного и витального, как и привычная рациональная жизнь, тогда как противопоставленный ему буржуа, благовоспитанный и никчемный пошляк, знает только одну сторону вещей, поэтому не знает истины.

Так, основная идея сюрреалистов, а вместе с тем и основание их подрывной революционной программы, это свобода. Это освобождение подавленных сил, воображения, грез, сексуальности – словом, всего, что дополняет мир дня необходимым ему миром ночи. Поэтому сюрреалисты столь радикально утопичны: они объявляют борьбу за нового человека, такого, который был бы поистине целостным – в отличие от половинчатого реалиста-буржуа и половинчатого же безумца без социальной идентичности. Реальное должно воссоединиться с воображаемым, разумное с безумным, рассудок со сном, прагматика с мечтой, необходимость со случаем, труд с удовольствием, взрослый с ребенком, цивилизованный с дикарем, день с ночью, свет с тьмой, Бог с Сатаной или с циничным неверием – вот о каком синтезе идет речь.¹¹

Сюрреалистическое движение, что важно, смогло выйти на интернациональный уровень. Одно время с ним отождествляли даже Гертруду Стайн, многим обязанным сюрреализму был Уильям Карлос Уильямс. В 1927 году в США появился красочный манифест, принадлежащий перу Юджина Джоласа, демонстрирующий уверенную поступь сюрреалистического тона по ту сторону Атлантики: «Устав от рассказов, романов, стихотворений и пьес, всё еще подвластных гегемонии банального слова, монотонного синтаксиса, статичной психологии и описательного натурализма, стремясь утвердить новую точку зрения, мы заявляем, что:

1. Революция, происшедшая в английском языке, есть неоспоримый факт.
2. Воображение, взыскующее мира чудес, самостоятельно и не должно контролироваться.
3. Чистая поэзия – лирический абсолют. Она устремлена к априорной реальности, находящейся только внутри нас самих.
4. Повествование – это не занимательная история, а проекция преобразования реальности.
5. Названные выше идеи могут быть осуществлены только посредством ритмических „галлюцинаций слова“ (Рембо).
6. Писателю дано право дезинтегрировать первоматерию слов, навязанных ему учебниками и словарями.

¹⁰ Бенъямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. – СПб.: «Симпозиум», 2004. С. 275–276.

¹¹ «Французский сюрреализм начинается с войны – как в буквальном смысле, поскольку история литературного движения берет свое начало с 1916–1918 годов, так и в фигуральном смысле, поскольку сюрреализм есть не что иное, как открытая, объявленная война реальности буржуазного мира, война против тех понятий общественной жизни, личности, искусства, которые до 1914 года казались незыблемыми достижениями европейского духа» – Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2002. С. 33.

7. Ему дано право использовать слова собственного изобретения, не обращая внимания на бытующие законы грамматики и синтаксиса.¹²

8. „Литания слов“ признается самостоятельным компонентом творчества.

9. Нам чужда пропаганда общественных идей.

10. Время – это тирания, которую необходимо свергнуть.

11. Писатель выражает. Он не несет коммуникативных обязательств.

12. Рядовой читатель да сгинет в преисподней»¹³.

Аминь. Это пропитывало сам воздух, поэтому несомненно, что Генри Миллер был настоящим сюрреалистом, и он этого не скрывал, – его заботой был синтез своей родной Америки – рациональной, цивилизованной, деловой – со всей той изнанкой человеческого существования, на которую средний порядочный янки старался вообще не обращать внимания, будто бы всего этого попросту не было. Для этого синтеза Миллеру понадобилась Европа, ему понадобились Восток, Россия и Античность – то есть *другое*, отличное от американской действительности.

Теперь мы увидим, как бит-поколение, наследуя в этом Миллеру, подхватывает, продолжает и углубляет этот причудливый синтез американского сюрреализма, формируя масштабную традицию литературной третьей волны, которая заканчивается там, где заканчивается и сам этот синтез, дав в итоге своем неожиданные, безусловно богатые, отчасти весьма драматические плоды. По этим плодам мы познаем его – слово за словом.

¹² Теперь понятно, при чем тут Гертруда Стайн.

¹³ Цитата по: *Зверев А.* Модернизм в литературе США. С. 23–24.

Часть первая: полигон просвещения

«Мы не желаем принять зло как очевидность. Прекрасный пример тому дают американцы: они просто не могут представить себе зло – его для них не существует. И когда в один прекрасный момент оно является им во всей своей красе, как это случилось одиннадцатого сентября, они приходят в полный ужас. Принять существование зла можно, только согласившись с существованием «другого», ощутив его «самость». Вот американцы к этому абсолютно не способны. Они представляют себя наедине с Богом, и «другие» для них просто не существуют. А если все же появляется «другой», то он глуп, он варвар, психопат, он животное и так далее. То есть он – воплощенное зло, которое надо немедленно уничтожить».
Жан Бодрийяр – «Меланхолический Ницше» (интервью).

«Превратятся ли американцы в конце концов в муравьев?»
Германн фон Кайзерлинг – «Америка».

Соединенные Штаты Америки достойны благородного титула великой нации уже потому, что фундаментальные свободы – слова, совести, вероисповедания, не забудем и про ношение оружия – были в ней не только провозглашены, но и реализованы – едва ли где-либо еще в той же мере, как здесь, свобода действительно работает, а не просто рекламирует чью-то частную политическую или коммерческую, на деле всегда гегемонистскую, волю. Народ США участвует в политике своей страны не номинально, но реально, обладая полнотой возможностей прямого воздействия на власти предержащие. Да и сами власти не сливаются в один неразличимый колосс – их разделение столь же реально и эффективно, как гражданское действие, их баланс, осуществляемый эффективной системой сдержек и противовесов, обеспечивает этой политической общности многомерность и аналитическую функциональность.

Впервые именно в США многочисленные меньшинства обрели силы для сопротивления и борьбы, что позволило демократии не деградировать-таки до состояния тирании больших чисел. Разнообразие, полемика, оппозиция, столкновение точек зрения – всё это приветствуется, а не запрещается, всё это работает на общее благо, а не мешает двигаться вперед, причем всему в целом, а не только наиболее удачливым или наглым его частям. Подобная внутренняя политика не может не восхищать, и Новый Свет, каковым и явилась миру эта уникальная система, в действительности разгоняет мрак политической и идеологической косности, безразличия и безвольного холуйства.

Примерно так выглядит оптимистическая точка зрения.

В связи со всем этим тем более ужасает то, что открывается взгляду при минимальной смене аспекта. При полном (или относительно полном, если того потребуют интересы национальной безопасности) признании внутренних свобод Штаты никогда не были готовы мириться со свободами внешними. Несмотря на общий гуманистический пафос вильсоновской доктрины о праве наций на самоопределение, у этого права есть один существенный корректив: самоопределение наций должно соответствовать внешнеполитическим интересам США, в обратном случае право превращается в весомую угрозу. Собственно, в доктрине Буша, сформулированной чуть меньше века после Вильсона, об этом сказано прямо и без обиняков. А что до угроз, то, кажется, внутренняя свобода в США растет прямо пропорционально внешней паранойе. На этом, втором уровне само понятие демократии было брошено в костер чьего-то политического тщеславия – именно нуждами демократии оправды-

валось методичное и хладнокровное истребление целых народов, ибо демократия служила не их интересам, но интересам США в отношении них. Так, бесчисленные жертвы агрессии США в Японии, Корее, Вьетнаме, Иране, Ираке, Югославии, Афганистане, Сирии – говоря лишь о наиболее ярких примерах – неизменно оправдывались идеалами демократии, которая оказывается дороже (чужой) жизни. А если с помощью демократии можно оправдывать массовые убийства, значит, с ней что-то не так. Америка – самая свободная страна в мире, но одновременно самая активная страна по части лишения свободы и жизни жителей всего остального мира. Современное мировое деление на патрициев и плебеев проходит по североатлантической оси.

Новый Свет отбрасывает на весь мир чудовищную тень – военной, политической, экономической гегемонии. Общество изобилия, съедающее львиную долю мировых ресурсов и пока что как будто не давящееся, уничтожающее экологию в поистине промышленных, подлинно фордистских масштабах. Если и есть в этом мире еще более противоречивое пространство (а оно есть), признаемся, что наши дела пахнут порохом.

*

Так повелось исторически, ибо сама история Нового Света, взятая в целом, демонстрирует поистине пугающую амбивалентность. Началось всё, конечно, с Европы. Так, изначально наиболее действенной силой на новой земле оказались англосаксонские беглецы-протестанты, надеющиеся на лучшую жизнь в свете того, что старая и европейская виделась этим последователям Кальвина чем-то вроде сатанинской клоаки. Причालивший в 1620 году в Кейп-Корде «Мэйфлауэр» положил начало крупномасштабному протестантскому переселению в Америку. При этом, как бы они ни стремились оставить всё прошлое в прошлом, реально же эти европейские беглецы ввозили с собой весь корпус европейской культуры – просто потому, что никакой другой культуры у них не было. Однако ближе к следующему веку отношения Нового Света и Старого Света стали портиться – конечно, потому, что могущественная Британия, которая, впрочем, ввиду двух революций находилась не в лучшей политической форме, смотрела на Америку именно как на Новую Англию (так называется доминион северных колоний), то есть на заокеанский придаток своей европейской империи.

Американцы, прожившие здесь уже несколько поколений, не хотели быть чьим-то придатком. В ответ на ряд унижительных торговых законов поселенцы с оружием в руках поднялись на утверждение и защиту своей независимости. Война начинается в 1775 году, командует американцами Джордж Вашингтон, истинный отец новой нации. Декларация независимости принимается в знаменательный день 4 июля 1776 года, а через год Конгресс провозглашает создание Соединенных Штатов Америки. Война же заканчивается только в 1784 году. Отцы-основатели, настоящие европейские интеллектуалы, несут идеалы Просвещения в новый и девственный американский мир. Рационализм просвещения вступает в конфликт с благочестием пуританизма, чтоб потом породить невероятный симбиоз американской гражданской этики: *религию экономики*, которая, в общем-то, как твой Лаплас, уже не нуждается в гипотезе Бога. Всё это далее, пока же – череда славных дат: в 1788 г. ратифицируется Конституция, в 1789 г. Вашингтон избирается первым президентом независимого государства, в 1791 г. принимается Билль о правах, то есть первые 10 поправок к Конституции. И прочее, и прочее.

А среди прочего на протяжении всего XIX века от одного океана к другому сдвигается фронт, то есть граница между освоенными и неосвоенными землями, а вместе с фронти-

ром идет методичное уничтожение коренного индейского населения¹⁴. Не успев и образоваться, новое государство дало понять миру, что свобода – это прекрасно, но свобода – она не для всех. Все люди равны – и далее по Оруэллу. При этом, огнем и мечом решая свои внутренние дела, американцы не лезут во внешние – так, уже Вашингтон объявляет последовательно изоляционистскую доктрину. Такие доктрины, мы увидим, будут теперь меняться, как цвет клеток на шахматной доске.

Пока что, в 1823 году, доктрина Монро подчеркивает интенцию американцев на изоляционизм. В 1846–1848 годах, однако, США ведут Мексиканскую войну, в результате которой получают ни много ни мало Нью-Мексико и Калифорнию, в которой очень скоро вспыхнет эпидемия золотой лихорадки. С приходом к власти Линкольна в 1860 году рабовладельческие южные штаты идут на разрыв с США. Гражданская война заканчивается в 1865 г. убийством Линкольна и полным разгромом Юга. С победой прагматического Севера начинается золотой век Соединенных Штатов. Появляются первые миллионеры, а с ними и первые финансовые скандалы, потому что миллионеры возникают в обход закона. Их прозвали *баронами-разбойниками*: нефтяник Джон Д. Рокфеллер, промышленник Эндрю Карнеги, финансист Дж. П. Морган. В каком-то смысле – а почему бы и нет? – именно эти люди являются подлинными отцами американской нации.

В 1890 году фронт официально закрыт – больше не было земель, которые нужно открывать, больше не было индейцев, которых нужно убивать. Конечно, для американцев, которые всерьез верили в доктрину предначертания судьбы, в соответствии с которой Господь призвал Америку править всем миром, всё это было сущим разочарованием: куда идти дальше, если идти уже некуда? Верный ответ: всегда есть куда идти. И американцы пошли, позабыв досужие изоляционистские доктрины, за пределы своих естественных границ. Так, уже в 1898 году они походя аннексируют Гавайские острова, Кубу, Филиппины. В сражениях отличается Теодор Рузвельт, который в 1901 году становится президентом – взамен убитого Мак-Кинли. Рузвельт и вносит некоторые поправки в доктрину Монро, в свете которых Соединенные Штаты всё же могут, если сочтут нужным, исполнять обязанности *мирового полицейского*. Это означало, что божественное предопределение судьбы продолжает работать. Примерно в этот момент ужас бедного Ницше с его «*Keine amerikanische Zukunft!*» начинает сбываться на практике.

Однако в Первую мировую войну США сохраняют нейтралитет почти что до самого ее конца – они вступают в войну в 1917 г., когда воевать уже было практически не с кем. По окончании войны президент Вудро Вильсон выступает со своими четырнадцатью пунктами о едином мире. На основании этих пунктов будет создана Лига Наций, в которую США, однако, не вступят. Все 1920-е годы были отмечены бурным экономическим ростом. Настолько бурным, что в 1929 г. случилась Великая депрессия, затронувшая весь мир. В 1930 г. терпит крах Банк Нью-Йорка, а число безработных взлетает с 3 до 15 миллионов, и это еще не предел: «Происходило то, что всегда происходит во время рыночного бума, – зарплаты отставали, а прибыли росли непропорционально быстро, и у богатых в руках оказывался все больший кусок национального пирога. Но поскольку массовый спрос отставал от роста производительности индустриальной системы, зародившейся в лучшие годы Генри

¹⁴ «Одно из любопытных обстоятельств, связанных с нашими предками, состоит в том, что, хотя они по их собственному признанию стремились к миру и процветанию, к политической и религиозной свободе, начали они с грабежей, травли, убийств и почти поголовно истребили ту расу, которой принадлежал весь этот громадный материк. А позже, когда началась золотая лихорадка, они творили с мексиканцами то же самое, что прежде творили с индейцами. А когда возникли мормоны, то они оказались такими же жестокими и нетерпимыми гонителями по отношению и к белым собратьям». – Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар. – М.: Б. С. Г.-ПРЕСС, 2001. С. 25.

Форда, результатом стали перепроизводство и спекуляция. Это, в свою очередь, инициировало начало краха»¹⁵.

К тому же последствия кризиса были таковы, что Эрик Хобсбаум без обиняков пишет: «Если бы не он, вне всякого сомнения, не появился бы Гитлер»¹⁶.

Франклин Делано Рузвельт, пришедший к власти в 1932 году, с целью лечения экономики выдвигает свой «новый курс». Пока Гитлер бушует в Европе, в 1937 г. США принимают закон о нейтралитете, в соответствии с которым страна не будет поставлять вооружение воюющим странам. Однако вскоре, когда началась Вторая мировая и Британия с Францией оказались в очень незавидном положении, поставки вооружения всё-таки решают осуществлять – с тем условием, что за них должно быть заплачено наличными, и принимающая сторона обязуется самостоятельно доставлять грузы. Эта удобная система получила название *cash and carry*, почти что *плати и проваливай*. К тому же в обмен на снабжение Британии Штаты получают в аренду британские военные базы сроком на 99 лет вперед. Эта война, как, впрочем, и предыдущая, для кого-то оказалась очень, очень выгодной.

Однако пришлось и повоевать – после того как японцы 7 декабря 1941 года напали на Перл-Харбор на Гавайях, а следом и Германия с Италией объявили Штатам войну. С японцами не церемонились. В Европе американскими войсками командовал будущий президент, пока что генерал-майор Дуайт Эйзенхауэр. Война заканчивается в 1945-м, отчасти тогда, когда советские войска берут Берлин, отчасти тогда, когда американцы сбрасывают на Японию атомные бомбы – 6 августа на Хиросиму, 9 августа на Нагасаки. Япония капитулирует.

Мировые войны оказываются для Соединенных Штатов настоящим звездным билетом: «...на экономику США войны, несомненно, оказали благотворное влияние. Уровень ее развития в обеих войнах был совершенно беспрецедентным, особенно во Второй мировой войне, когда темпы экономического роста составляли 10 % в год – больше, чем когда-либо до и после. В обеих войнах США выигрывали оттого, что, во-первых, были удалены от мест сражений и являлись главным арсеналом для своих союзников и, во-вторых, благодаря способности американской экономики расширять производство более эффективно по сравнению с другими экономическими системами. Возможно, именно долгосрочные экономические последствия обеих мировых войн смогли гарантировать экономике США то глобальное превосходство, которое сохранялось на протяжении всего двадцатого века и начало постепенно сглаживаться только к его завершению»¹⁷.

Без промедления горячая война сменяется холодной, когда в марте 1946 года в городе Фултон, штат Миссури, старый и опытный империалист с шовинистическими повадками, кем-то любимый и уважаемый Уинстон Черчилль, рассказывает миру о неожиданно рухнувшем на него железном занавесе: «Как только не стало фашизма, против которого необходимо было объединяться, капитализм и коммунизм опять были готовы считать друг друга смертельными врагами»¹⁸. Послевоенный раздел зон влияния получает теперь, скажем так, официально-оборонительное подтверждение. Две части мира принимаются в бешеном темпе зеркалить повадки друг друга: план Маршалла и план Молотова, водородная бомба, с одной стороны, и она же – с другой, советский спутник и американский спутник – и прочее. При этом: «Если кто-то и вносил дух Крестовых походов в *realpolitik* международной конфронтации держав, так это Вашингтон. Фактически главным вопросом была не теоретическая

¹⁵ Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). – М.: Издательство К Независимая Газета, 2004. С. 113.

¹⁶ Там же. С. 98.

¹⁷ Там же. С. 59–60.

¹⁸ Там же. С. 194.

угроза мирового господства коммунизма, а поддержание реального превосходства США»¹⁹. Но именно в этих условиях американская система чувствовала себя лучше всего. Пока Джозеф Маккарти преследовал мнимых коммунистов в самих Штатах, Америка экономически подпитывала разрушенную Европу, скрупулезно восстанавливала государственность в Германии (Западной, конечно) и Японии, пыталась не допустить коммунизма в Китае, потом и в Корее, потом во Вьетнаме, свергала режимы на Ближнем Востоке (по очередной доктрине, на этот раз президента-бомбометателя Гарри Трумэна, Америка должна поддерживать «свободные народы, сопротивляющиеся попыткам порабощения»), росла, богатела и крепла.

В 1940–1950-е годы жизнь в Америке всерьез напоминала обретенный рай. То поколение прозвали *молчаливым* потому, что не о чем было говорить – всё и так хорошо, всё идет куда следует, своим чередом. Средний американец богател, покупал, зарабатывал и покупал вновь. Нужно было, конечно, чуть-чуть бояться советской угрозы, зато будто бы в награду за этот маленький страх стремительно исполнялись все самые сокровенные мечты. В конце концов, на случай войны наряду с телевизором и автомобилем можно купить собственное бомбоубежище – прямо в подвале. В остальном всё было прекрасно. Родители растили детей в полной уверенности, что уже завтра весь мир наконец станет американским.

*

Всё это – вовсе не остров в океане, но именно сам океан, потому что американское развитие мира имеет свою долгую европейскую предысторию. Эта предыстория – как процесс – называется *просвещением*. Его нам нельзя обойти стороной. Поэтому...

На самом пике Нового времени, в конце XVIII века, случились три примечательных и взаимосвязанных события.

В 1788 г. профессор Кёнигсбергского университета Иммануил Кант выпустил в свет вторую из своих критик – «Критику практического разума», – посвященную обоснованию свободы и нравственности. Кант пытается показать, что естественное состояние индивида, его привычная идентичность, личность и судьба, особенности характера и условия жизни не имеют к этике никакого касательства. Все эти условия суть просто склонности, тогда как долг противоположен склонностям и состоит в том, чтобы им противостоять. Человек может быть свободен только в подобном противостоянии естественным условиям (по Канту – природе), в обратном случае он находится у них в рабстве, а в этом случае моральный вопрос попросту снимается. Таким образом, всё, что нас естественным образом индивидуализирует, находится вне пределов моральной и этической проблематики. Напротив, этос – это область универсальной свободы, в которой индивиды ничем не отличаются друг от друга и представляют собой как бы единый и гомогенный *практический разум*.

Очень скоро, в 1789 году началась Великая французская революция. Ее главным историческим завоеванием было то, что восставшая буржуазия положила конец длительной эпохе европейского феодализма. Гражданин, провозглашенный идеалом законной Декларации, человек равных прав, свобод и обязанностей, торжественно приходил на смену непросвещенному обществу эксплуатации, неравенства, дворянских привилегий и рабства непривилегированного человека. Взяв Бастилию 14 июля 1789 года, гражданин отменил основания для неравенства, ибо один гражданин не выше и не ниже другого. Таким образом, вроде бы исчезают и основания для социального антагонизма, что и позволит философу Александру Кожеву, а позже его попугаю Фрэнсису Фукуяме уже в XX веке окрестить время конца истории *эрой гражданина*.

¹⁹ Там же. С. 257.

Наконец, в 1791 году, когда гражданин сорвался с цепи и революционная ситуация потребовала особенно решительных мер, член Национальной Ассамблеи Жозеф Игнас Гильотен предложил совершенную машину для казни контрреволюционных элементов, в итоге так и названную *гильотиной*. Простое и практичное, это устройство превращало казнь через обезглавливание, то есть декапитацию, в быструю и легкую процедуру. Шею приговоренного к смерти фиксировали между двух досок, поднимали лезвие на несколько метров над головой, затем отпускали его и в мгновение ока получали отсеченную голову как искомый итог. Это была гуманная, безболезненная казнь. Гильотина – поистине великий уравниватель революции, как чуть позже американский кольт станет великим уравнивателем Запада. Кем бы ты ни был, гильотина сделает с тобой то же самое: превратит в сакральную жертву торжествующего Просвещения. То есть убьет.

*

Слепящим зенитом Нового времени, после которого всё только шло на спад или же доводилось до абсурда, была субэпоха под названием Просвещение – в ней в самой чистой и самой наглядной форме кристаллизовались черты и потенции, сделавшие Модерн особой культурной вселенной наряду с другими, ныне почившими (почил ли Модерн – это по-прежнему спорный вопрос, несмотря на отчетливый запах гниения). Просвещение, как и Новое время в целом, это господство Разума и, соответственно, подчинение ему всякого неразумия, признаваемого Разумом за таковое. В сердце Прекрасной эпохи с самого начала обнаруживает себя местами сокрытая, местами явная структура *гегемонии*.

Разум един и универсален, он имеет ясные и недвусмысленные законы, которые доступны каждому человеку (а если недоступны, то это не человек), поэтому разумное всегда и везде можно отличить от неразумного. Повсеместно проводить такое различие – долг человека, разумного существа, и долг его, прежде всего, быть разумным, то есть соответствовать своей природе, быть на своем месте в мире (а так как мир разумен, это долг быть своего рода миром – всем миром в целом).

Отсюда исходит понятная этика: нужно быть разумным, не нужно – неразумным; разум – это хорошо, разумность заслуживает поощрения; неразумие – это плохо, неразумность заслуживает порицания, а лучше наказания. Эта этика Просвещения немало развязывает кое-кому руки: с неразумным (еще) ребенком можно обращаться как с вещью, и телесные наказания вполне подбавляют ума-разума; с неразумным (вообще) дикарем можно и нужно обращаться как со скотиной – можно убить, можно запрячь в долгий плуг, можно насадить демократию верным ковровым методом. Вкупе с теорией прав (разумного) человека, эпистемологией познающего субъекта (Декарт) и психологическим учением о *tabula rasa* (Локк), с пряной приправой из *bellum omnium contra omnes* в качестве обоснования генезиса государственной власти (Гоббс – из которого, к слову сказать, без труда может быть выведен как либерализм, так и консерватизм), наконец, с теорией общественного договора Руссо это получит гордое имя либерализма и позже захватит весь мир под угрозой просветительских бомбардировок вооруженных сил НАТО. Всё это, конечно, для вашего блага: «Говоря коротко и по существу: счастье – это „*воля к власти*“ по-английски: право *делать* всех счастливыми или *заставлять* их быть счастливыми»²⁰.

Просвещение втайне оправдывало откровенный маккиавелизм (ибо он холоден, разумен и эффективен) во внешней политике, то есть так называемую *realpolitik*, оно открыто оправдывало рабство и геноцид так называемых дикарей, варваров, прочих нецивилизованных мракобесов, потому что они неразумны, следовательно, они не люди – и слава пророку

²⁰ Свасьян К. Растождествления. – М.: Evidentis, 2006. С. 47.

колониализма, много мудрому Нобелевскому лауреату Редьярду Киплингу, превратившего «бремя белых» в романтический миф. Конечно, во всем этом свернут грядущий фашизм, ибо либеральное просвещение позволяет по некоему признаку делить людей на *людей* и *нелюдей*.

Великая европейская культура и сама к XX веку успела осознать, что она слишком чванлива и при этом, в сущности, глубоко провинциальна. Просвещенная Европа по привычке мнила себя центром мира, а на деле она сама являла собой удивительно компактный, небольшой мир, который видит всё через свою, особую оптику – и потому во всем видит только самое себя, ряженое и кичливое.

Конечно, встречались и еще теперь встречаются апологеты европейской исключительности. Нет, это там-де отдельные миры, там отсталые провинции, но Европа-то как раз не какой-нибудь отдельный мир, она место встречи любых всевозможных миров – значит, мир как место мест, мир миров, то есть мир вообще, ибо только больший мир способен объять миры меньшие. Такой откровенно шовинистический патернализм когда-то еще поражал воображение тех, кто мечтал о своем космическом Эго в горних далях, среди высоких звезд. Еще греки придумали этот трюк – они будто бы все обращались в зрение и в слух, они чисто и набело воспринимали иные миры и иные культуры – египтян, халдеев, индусов, – а сами умели забыть о себе, убрать свое скромное Я из общей перспективы. Греки, теперь европейцы – это ведь не особый мир, это *мир вообще*, потому он по-хозяйски видит всё, но сам остается невидимым, как настоящий Паноптикон *avant la lettre*.

Иные культуры – что уж там, просто культуры, – зациклены на себе, они не умеют увидеть себя со стороны и ужаснуться своей брэнной ограниченности, и только умелая, мудрая Европа способна увидеть другое как другое, во всей чистоте своего ясного и пронизательного взора. Какая пламенная ода европейской исключительности – ведь все ограничены сами собой, и только европеец способен выйти за все относительные границы. Европа – культура культур, потому она высшая культура. Другие культуры значительно хуже и ниже Европы, ибо они ограничены, не универсальны... Все они хуже, потому что они ошибаются: мнят себя подлинными, но не могут взглянуть на себя беспристрастно; всем им нужна Европа – как внешние глаза, могущие увидеть истину. Как ясный приказ. Как верный кнут. Без Европы миру гарантировано медленное и бесславное загнивание.

Следовательно, без хозяйского взгляда Европы другие культуры *неистинны*. Их истинность обретаётся во взгляде другого, то есть, конечно, в европейском взгляде. Также, как в иерархию выстраиваются многие места и объемлющее их место мест, и Европа по отношению ко всем прочим культурам является чем-то вроде хранителя их отчужденной истины. Никто не сможет быть самим собой без взгляда Европы, брошенного извне и в этом броске несущего тебе твою сокрытую истину, а вкупе, конечно, свободу и демократию. И этот, как будто теперь обоснованный, европейский универсализм вполне позволяет указывать всем прочим культурам, как жить, ведь они не могут этого знать в силу своей ограниченности, и только героическая Европа знает это в силу своей дюжей универсальности. Теория европоцентрического расизма, как она есть со времен Древней Греции – когда мир делится на правильных (универсальных) эллинов и неправильных (ограниченных) варваров, то есть всех остальных. И после такой снисходительности нас уверяют, что греки умели уважать в другом его «другость»...

Европеец и по сей день думает, верит и говорит о своей универсальности, исходя из своей ограниченности, и даже армия освальдов шпенглеров и жилей делезов не заставит его одуматься. Такая культурная особенность – считать себя единственными в своем роде универсальными – право имеющими... Неправда, что этому нет аналогов: ацтеки, и те искренне верили, что, кроме них, вообще никого в мире нет, что они единственные, – и таково было их удивление, когда на алом горизонте появился белый человек, что они очень скоро и вовсе сгинули с лица земли от своей величайшей растерянности. Настоящая встреча с «другим»

отрезвляет, и от провинциального универсализма не остается и следа. Европейец – тот верит, что держит перед собой другое как другое. Но держит он его через свой европейский язык с его европейскими структурами подчинения, через свою европейскую систему понятий, в своей европейской ценностной и традиционной сетке координат. Европейец знает другое только в гегемоническом жесте своих настоящих философов: Александра Македонского, Цезаря, Наполеона, – а если сказать еще «Гитлера», европейец обидится и застучит в набат. Европейец хочет быть всем, потому он ничто – не то, что впускает, но то, что лишает, уничтожает. И всеми любимые греки всегда живописали другие народы чудовищно глупо, имея в кармане только свои, европейские лекала и нормы. И как отвратительна ныне эта сытая, буржуазная эллинолатрия... Надо спросить – не странно ли, что сам эллин и сам европейец так много сказали о своей универсальности? Не он ли, этот бессмертный универсал, корил иные культуры в том, что те-де мнят себя неповторимыми, хотя со стороны видно, что они только куцы, неполноценные? А видел ли он себя со стороны, и если да, то чьими глазами? Это ли не Мюнхаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота лжи и тщеславия?

Европа, большая универсализмом, увидела себя в зеркале нацизма, который ведь тоже был лучшим, самым высоким и универсальным, а все прочие были дефектными и половинчатыми. Нацизм – не эксцесс для Европы, а сама она, взятая в жестких экспериментальных условиях, какими до этого были колонизация, религиозные войны, Крестовые походы. Лучшим в Европе всегда был уход от пьянящей, дурманящей универсальности: у скептиков, у Монтеня, Паскаля, скажем, у Макса Штирнера, Шпенглера или Жака Деррида. Просвещение же – это нарыв воинственной идеологии европейского универсализма, однажды рванувший, как бомба, на весь монолитный европоцентрический мир.

Но европейец горазд заговаривать зубы, туманить слабеющую память всем прочим, а прежде всего самому себе. К счастью, вопреки бравым демаршам и красивым словам, у нас есть история и мысль, данная в текстах, доступных любому пытливому взгляду. В них универсалистский европейский дискурс оттачивает собственную, больше нигде не встречающуюся сетку понятий и правил вывода, созданную для того, чтобы пропускать через нее, точно через адскую мясорубку, содержание других культур – так, чтобы на выходе получать изуродованный до неузнаваемости, зато понятный среднему европейцу товар. Что может быть одиознее, чем старик Шопенгауэр, трактующий буддизм? А как насчет Гегеля, который в начале своей «Истории философии» отводит восточной мысли жалкие абзацы, полные воинствующего невежества и непонимания, ибо ведь восточная мысль – это вообще не мысль, потому что это *не европейская* мысль...

Европейец изобретает понятный для себя язык, чтобы говорить на нем о языках других культур, но при этом он имеет наглость утверждать, что это-де никак не влияет на их содержание. Это примерно как делать мясные котлеты из сои – разницы вы попросту не заметите, потому что есть европейская химия. Услышав, что буддист говорит: сансара и есть нирвана, – европейец радостно хлопает в ладоши – конечно, ведь это же тождество противоположностей! Да нет же, тут и речи нет ни о тождестве, ни о противоположностях...

Переводя всё на свой провинциальный язык, европейец уничтожает другое как другое, при этом почему-то грезит, что сохраняет его в первозданной чистоте, то есть чистой неполноценности. Иначе, как павлиньим самомнением, этого не объяснить. Воистину, как прекрасна была бы европейская культура, одна из множества прекрасных культур, если бы не эта спесивая агрессивная гордыня, которая и есть, как оказывается, самая суть универсальной Европы.

*

Исторически Просвещение связано именно с Европой, однако с юной Америкой у него сложились особенные, потому что особенно последовательные и неразрывные, отношения. Америка – настоящий полигон Просвещения. И дело не в том, что сами принципы Просвещения дали на американской земле лучшие и богатейшие всходы, – дело в том, благодаря чему такое вообще могло случиться. Так почему же? Мой ответ: потому что Америка есть результат Просвещения, а не причина его, какой выступала Европа; потому что Америка появляется вместе с Просвещением и, соответственно, не знает иного, непросвещенного состояния.

Конститутивные акты и документы независимых Соединенных Штатов были созданы убежденными сторонниками Просвещения, такими как, прежде всего, Томас Джефферсон, который писал «Мы, народ...», но писал он о том, о чем тот самый американский народ и слухом не слыхивал, потому что народ не был интеллектуалом, ориентированным на прогрессивные европейские идеи и ценности. Он писал *за* народ, но от имени народа – какое уж тут *sapere aude*... В общем, как бы то ни звучало, но излишний оптимизм насчет торжествующей демократии лучше пока попрiderжать в стороне.

Суть ситуации в том, что Америка получает Просвещение в готовом виде, тогда как Европа вырабатывает его из себя же за счет собственных умственных сил. Разница тут как между заемным и произведенным самостоятельно. Поэтому кантовский девиз «дерзай мыслить» к Соединенным Штатам, в общем-то, неприменим: в том, что касается Просвещения, кто-то подумал за них, а сами они получили готовые результаты чужого мышления. В текстах отцов-основателей, знаменитых американских просветителей, мы не найдем ничего нового, что как-то бы дополняло тот корпус просветительской мысли, который к концу XVIII века уже был готов на европейском континенте. По правде сказать, даже французам не нужно было особо упорствовать – они, как правило, просто цитировали Локка, который действительно постарался за всех своих межконтинентальных эпигонов.

Особый статус Америки – не в интеллектуальном новаторстве, но в очень особых условиях: это единственный человеческий мир, который возникает не до Просвещения, а вместе с ним, поэтому он оказывается очень кстати – он будто бы призван иллюстрировать локковскую идею *tabula rasa* на историческом материале. Кстати, на этом же материале мы убеждаемся, что эта идея не имеет ничего общего с действительностью... И тем не менее Джон Локк подумал за американцев так, чтобы американцам больше никогда не приходилось думать. «Мы считаем эти истины самоочевидными», – сказано в Декларации независимости. Но ведь «считать самоочевидным» и «доказать путем размышления» – это не просто разные, но противоположные вещи. Мысль только и возможна там, где самоочевидное подвергается обоснованному сомнению. Всё это очень заметно и по сей день на показательном уровне массовой культуры: меньше думать, больше действовать, по части мышления есть мануалы и профессионалы, готовые всегда подсказать, как разбогатеть, как завести друзей, как управлять людьми и так далее. Вся эта индустрия, которую можно условно поместить в рубрику «Дейл Карнеги», являет собой замечательное свидетельство того, что среднему американцу «дерзать мыслить своим умом», в общем-то, незачем – за него уже подумали другие люди. Достаточно лишь позвонить и приобрести книгу – прямо сейчас.

И в то же время утверждать, что американец несамостоятелен – это чудовищная ложь. Мало кто в современном мире способен похвастаться самостоятельностью и самодостаточностью, подобной американским. С практической точки зрения, в свете общенационального прагматизма, возведенного американцами в ранг своей собственной оригинальной философии, это наиболее свободная и деятельная нация в мире. Однако назвать ее при этом откры-

той у меня язык не поворачивается. Пространство дерзания в Америке разомкнуто, но на уровне базовых смыслов это пространство взято в стальной горизонт просвещенческой догматики. Здесь ты волен выбирать всё что угодно, но те десять вариантов выбора, которые тебе даны, давно уже придуманы за тебя и не подлежат никакому сомнению. Можно свернуть горы, но нельзя помыслить эти горы бесплатными или неполиткорректными. Индивид абсолютно свободен в частности, но он абсолютно детерминирован в общем. Свобода на уровне тактики, рабство на уровне стратегии. Как и всё существующее, Америка держится на петлях своих противоречий.

Итак, на заре Нового времени американский континент заселяется белыми и культурными и тщательно вычищается от коренных, небелых и бескультурных. На пике Просвещения, который совпадает с выходом в свет «Критики практического разума» и со свершением Великой французской революции, США становятся независимыми, то есть, собственно, начинают свое историческое существование. Этот символический жест просвещенной независимости следствия от своих собственных причин, которые небрежно отодвигались за океан, во всё еще слишком темную Европу, заметно разгружает американская совесть. Дистанцированность от неразумия, как никогда в истории человечества, предоставила гегемону – Разуму карт-бланш на преследование своих целей любыми средствами. Это привело к небывалому развитию гражданского общества и свободного рынка, а вместе с тем к цивилизационному шовинизму и холодному, прагматичному и почти что всемирно поддержанному истреблению иных, неразумных народов и наций вроде иракцев и сербов.

Разум по-прежнему амбивалентен и всюду несет за собой свою тень, но в Соединенных Штатах об этом не хотят знать и помнить – и всё потому, что Разум изначально был принят на этой земле только со светлой своей стороны, всё темное было оставлено позади, в Старом Свете, отделенное бурным океаном и с тем будто бы вовсе не бывшее, несуществующее. Конечно, это не значит, что Разум и в самом деле перестал быть двойственным, добрым и злым, мудрым и коварным одновременно. Это значит только, что на полигоне Просвещения об этом совсем не хотели помнить, уверовав в безгрешность своей исторической избранности и поэтому отказавшись от самокритики. Забвение своих европейских корней означало для юной американской нации забвение собственной тени, злой своей стороны – того неразумия, которое по необходимости питает корни самого Разума. Раз так, то диалектика Просвещения на этой земле должна была обрести совершенно непредсказуемый, особенно драматический ход.

*

Чтобы охарактеризовать эту диалектику, без которой мне не представляется возможным рассмотрение американских культурных феноменов, я приведу несколько примеров-рассуждений противоположного свойства. Мы начнем с апологетического, закончим критическим. Апологетом Просвещения назовем современного философа и лингвиста, француза болгарского происхождения Цветана Тодорова. В качестве критиков выступают, конечно, известные борцы с просветительской ложью – представители Франкфуртской школы социальных исследований Макс Хоркхаймер и Теодор В. Адорно.

Итак, в небольшой работе Тодорова «Дух Просвещения» читаем следующее. В основе проекта Просвещения «лежат три идеи вместе со своими бесчисленными следствиями: индивидуальная свобода, человек как цель наших действий и, наконец, универсальность»²¹. Несложно заметить, что три обозначенных идеи взаимосвязаны: если мы определили *человека вообще* как цель наших действий, мы таким образом условились видеть в каждом

²¹ Тодоров Ц. Дух Просвещения. – М.: Московская школа политических исследований. – С. 8.

отдельном человеке этого человека вообще, то есть универсальную человеческую природу; далее, эту универсальную человеческую природу мы охарактеризовали как свободную, и в силу этого каждый индивид, определяемый нами через универсальную человечность, также наделяется свойством быть свободным. Индивид свободен, потому что он универсален. Перевернем этот тезис: человек универсален, и поэтому он свободен – соответственно, тот, кто не обнаруживает в себе признаки универсальной природы, не может считаться свободным и, как то было еще в Древней Греции, не может считаться равным со свободными людьми. Что касается конкретного содержания той универсальной человеческой природы, которая дарует индивиду свободу, то она, будучи проектом, определяется изнутри идеологии Просвещения. Эта идеология такова, что она из себя самой (как сказали бы просветители, *из чистого разума*) производит условия определения универсальных свобод и, соответственно, прав индивидов.

Рассуждая таким образом, мы пытаемся получить далекоидущие следствия из тезиса Тодорова, хотя сам он почему-то этого не делает и предпочитает довольствоваться малыми констатациями. Он говорит о Просвещении как о становлении человеческой автономии, как о сокрушении вековых догм, хотя мы отчетливо видим, что автономия отныне определяется изнутри собственных *догм просветительского проекта*, от которого мы не можем освободиться, ведь это он говорит нам, что является свободой, а что ей не является.

«Просвещение создает „расколдованный“ мир, который целиком и полностью подчиняется единым физическим законам или, в том, что касается человеческих сообществ, единым механизмам поведения»²² – но создает его, в свою очередь определяя (или, лучше сказать, вновь переопределяя, как то неоднократно бывало и до Просвещения) фундаментальные дискурсивные условия единства законов природы и механизмов поведения, то есть заколдовывая расколдованный мир с помощью новых чар. Просвещение освобождается от господства прошлого и выстраивает единый проект будущего, что неудивительно, раз прошлое связано с иными проектами, память о которых должна быть стерта, чтобы основательнее внедрялось подчинение новому проекту, определяющему образ будущего из собственных условий, данных в настоящем. Неправда, что проект будущего свойствен только Просвещению, что это его открытие и находка: сущностно проективным было христианство, которое спешит расколдовать воинственное Просвещение, проективными были даже так называемые циклические цивилизации – в той мере, в какой они полагались на образ иного мира, в который человеку предстоит попасть в будущей жизни. Несомненно, всякая известная нам культура является проективной, разница лишь в форме конкретного проекта, а не в способности проектирования как таковой. Просвещение, впрочем, не желает это признавать: по сей день оно через своих адептов утверждает собственную монополию на проективность *per se*.

Но не можем же мы отрицать, что Просвещение построено на принципах равенства, диалога и свободной дискуссии? Безусловно, это так: «Что же касается морали Просвещения, то она не субъективна, а *интерсубъективна*: принципы добра и зла формируются на основании консенсуса, который потенциально охватывает все человечество и который устанавливается посредством обмена рациональными аргументами, следовательно, основанными также на универсальных свойствах человеческого рода. Мораль Просвещения вытекает, таким образом, не из эгоистической любви к самому себе, а из уважения к человечеству»²³. Однако хорошо бы здесь выяснить, что за консенсус имеется в виду? К чему должны прийти спорщики, имеющие изначально противоположные точки зрения, и как они должны к этому прийти, если полагается, что из коллизии двух позиций должна в результате

²² Там же. С. 8.

²³ Там же. С. 29.

возникнуть единая точка их схождения? Очевидно, речь идет о том, что возможен один-единственный ответ на дискуссионный вопрос и существуют правила, по которым мы можем к нему прийти, а также критерии, по которым он поверяется как верный. И если уже существует верный ответ, то позиции спорящих могут быть либо верны, если они тождественны верному ответу, либо ошибочны, если они ему не тождественны. В таком случае, о каком равноправии и плюрализме может идти речь, если мы изначально имеем верный ответ, и противное ему будет для нас не равноправным и также имеющим право на существование, но именно ложным, долженствующим быть уничтоженным? Спорящий равен настолько, насколько он согласен с универсальным законом, принятым кем-то по поводу самого предмета спора. Если же нет, его равенство аннулируется, спорщик дисквалифицируется как идиот или, скажем, ненормальный. А что, если сам универсальный закон и есть предмет нашего спора? Как нам узнать истину относительно него, если мы не имеем предзаданных формулировок на его счет? Как быть, если Просвещение не подарило нам концептуальный каркас, призванный легитимировать нормы и условия извлечения истины из хаоса опыта? На этот вопрос нет ответа, ибо ответом может быть некоторый метадискурс, надстраивающийся над Просвещением как объемлющая его нормативная рамка. Но ведь тогда все претензии Просвещения на универсальность окажутся попросту идеологической уловкой...

Тут и там текст Тодорова демонстрирует собственные лакуны, по наивности или хитрости обходя их с легкой и грациозной риторической поступью. Скажем, вот характерное место: «Вместо далекой цели, Бога, мы должны обращаться к целям более близким. А они заключаются, согласно духу Просвещения, в самом человечестве. Благое является то, что служит возрастанию благоденствия людей»²⁴. Ведь в самой этой фразе содержится указание на произвольность самого изначального целеполагания: мы должны ставить практические цели, будучи людьми Просвещения, но мы должны были бы ставить божественные цели, если бы мы были людьми христианства. Дух Просвещения, как и всякий другой дух, есть прагматика целеполагания, которая определяет последующее развитие дискурса, будучи его догматическим фундаментом. Мы не можем пойти дальше этого фундамента, потому что если мы подвергнем его сомнению, то рухнут сами условия наших истинностных процедур. Нам остается лишь декретировать, надеясь, что наш волюнтаризм сойдет за научную объективность: «Первое, что мы должны констатировать: мысль Просвещения является универсальной, даже если ее не удастся обнаружить, везде и всегда»²⁵. Мы должны околдовывать себя этой мыслью: даже если мы не можем этого обнаружить, мы должны быть уверены – Просвещение универсально, Просвещение универсально, оно универсально... Только мы придем к счастью, потому что мы этого достойны... Уже следующее поколение будет жить при социализме... Германия превыше всего.

Истинному просветителю приходится уговаривать себя в том, что только его проект всесилен, потому что он верен. Ему приходится идти на это, ведь он по-настоящему не может доказать саму истинность своих предпосылок: для этого нужно взойти к каким-то другим предпосылкам, но ведь только его предпосылки дают ему знать, что есть истина, что есть ложь. Обратившись к иным предпосылкам, трансцендируя свой концептуальный каркас, мы этим самым расписываемся в том, что истинность его под вопросом; что в нем можно усомниться; что есть какая-то иная, высшая истина, которой поверяется наша, относительная. Это смертельно для универсализма, как если бы мы сказали: арийская раса, конечно, самая лучшая в мире, но кто его знает, это ведь надо еще как-то проверить... Проверить это, конечно, никак нельзя, ибо в самое основание нашей позиции мы положили не знание, но фантазию – хорошее мнение о самих себе, таких арийских или таких просвещенных.

²⁴ Там же. С. 70.

²⁵ Там же. С. 92.

Всё это не скрылось от таких сверхпросвещенных людей, как Хоркхаймер и Адорно, которые писали свою знаменитую «Диалектику Просвещения» в Соединенных Штатах, вынужденные покинуть Германию, доведенную Просвещением до нацизма. Таким образом, франкфуртцы имели сразу двойной опыт: германского нацизма и американского капитализма, которые, как оказалось, весьма показательно коррелируют один с другим, являясь на поверку детищами одного и того же духа – Духа Просвещения. Корреляция, как выясняется, заключается в той неумолимой диалектике вытесняющего и вытесненного, которая превращает первое во второе, второе в первое. Таким образом, гуманизм и варварство предстают в древнем образе Януса, у которого два лица, но одна голова, которая может в разное время поворачивать к публике разные свои лики.

Посмотрим, каким же образом в эту диалектику вовлекает просвещенный западный мир: «Человеческая обреченность природе сегодня неотделима от социального прогресса. Рост экономической продуктивности, с одной стороны, создает условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат и те социальные группы, которые им распоряжаются, безмерным превосходством над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом экономических сил полностью аннулируется. При этом насилие общества над природой доводится ими до неслыханного уровня. В то время как единичный человек исчезает на фоне того аппарата, который он обслуживает, последний обеспечивает его лучше, чем когда бы то ни было. При несправедливом порядке бессилие и управляемость масс возрастает пропорционально количеству предоставляемых им благ. Материально ощутимое и социально жалкое повышение жизненного уровня низших классов находит свое отражение в притворном распространении духовности. Подлинной задачей духа является негация овеществления. Он неизбежно дезинтегрируется там, где затвердевает в культуртовар и выдается на руки на предмет потребления. Поток точной информации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и оглушает людей»²⁶. Парадокс заключается в том, что Просвещение пронизано удушающей двойственностью: чем богаче, тем беднее; чем свободнее, тем зависимее; чем лучше, тем хуже.

Прогресс означает одновременный регресс, ибо эмансипация разума настолько повязана с древними силами мифа, от которых разум и стремится быть независимым, что движение освобождения по необходимости тянет за собой свои сброшенные оковы, ибо тем же жестом подчеркивает свою негативную от них зависимость. Поэтому Хоркхаймер и Адорно утверждают, что уже миф есть просвещение, и просвещение, таким образом, обнаруживает в себе силу мифа. Неслучайно один из центральных персонажей европейской мифологии – Одиссей – одновременно оказывается и первым просветителем, хитрецом и умником, противопоставляющим свободное движение разума иррациональным и темным силам мифологизированной природы (чудовища разума как его иное: циклопы, сирены, морские чудовища). Сон разума порождает чудовищ именно потому, что наполненным чудовищами было самое детство разума, в которое он, по всей психоаналитической строгости, и возвращается, отходя ко сну.

В итоге Одиссей, как и любой будущий просветитель, направляет силу своего проснувшегося разума на природу – исполненный страха по отношению к ее чудовищности, разум пытается перехитрить ее и этой хитростью подчинить природу себе, как Прометей, хитростью же заставляющий богов подчиниться его лукавому умыслу: «Все жертвоприношения, планомерно осуществляемые человеком, обманывают того бога, которому они посвящены: они подчиняют его примату человеческих целей и лишают его власти, а совершенный в отношении него обман беспрепятственно превращается в тот, который учиняется над верующей

²⁶ Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. – М.: СПб.: «Медиум», «Ювента», 1997. С. 12.

пастью неверующим проповедником. Хитрость зарождается в культе»²⁷. Обманная и мудрая эмансипация от темных природных начал и запускает тот диалектический процесс, который, сохраняя вытесненную природу в глубине торжествующей рациональности, делает возможным ее внезапное и разрушительное возвращение именно тогда, когда разум теряет бдительность, взаправду уверовав в свою абсолютную победу.

Выходит, что разум, к беде своей, опьяняется собственной властью над расколдованным миром: «Миф превращается в Просвещение, а природа – во всего лишь объективность. Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими. Человеку науки вещи известны в той степени, в какой он способен их производить. Тем самым их в-себе становится их для-него. В этом превращении сущность вещей всегда раскрывается как та же самая в каждом случае, как субстрат властвования»²⁸. И далее: «Лишенная качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации, а всемогущая самость – всего лишь обладанием, абстрактной идентичностью»²⁹. Диалектика начинается там, где человек, покоряя природу, покоряет вместе с нею и самого себя.

Чисто природный, естественный страх ведет человека в том, что сам он считает абсолютно рациональным процессом познания мира. Корень разума находится в неразумии, что делает неразумным сам разум. Ведомый страхом, жестоко поработав природу в себе, познающий субъект не ведает, что делает это по воле самой природы. Отсюда видна вся абсурдность привязки автономного просвещенного разума к строгой морали, как то имело место у Канта. Обнаруживая в себе жестокую и вместе с тем жестоко подавляемую природу, разум на самом деле не ведает, что такое мораль, что такое нравственность, и нет ничего менее близкого такому противоречивому разуму, как идеологически пестуемое чувство сострадания. На деле сострадать крайне глупо: сострадая, просвещенный прагматик упускает свою автономную выгоду, он подчиняется чему-то иррациональному, чувственному в себе, дает волю не до конца поработанной природе, тем самым ступая против проекта Просвещения. Никто не понял этого лучше, чем маркиз де Сад, вся суть произведений которого и состоит в этом жесте доводки автономного разума до его логического конца, где уже не остается никакой морали (это и упускает Цветан Тодоров, который брезгливо отмахивается от Сада, больного-де человека, смешавшего всю рациональную проблематику с грязным насилием и порнографией; если бы – Сад как раз-таки демонстрирует, что насилие и порнография суть другое лицо разума, а не что-то ему инородное).

«Разум является органом калькулирования, планирования, по отношению к целям он нейтрален, его стихией является координация. То, что обосновывалось Кантом трансцендентальным образом, сродство познания и планирования, которым насквозь рационализированному даже в моменты передышек буржуазному способу существования во всех его аспектах придавался характер неотвратимо целесообразного, более чем за столетие до возникновения спорта было уже эмпирически реализовано Садом»³⁰. Вся сага де Сада, таким образом, оказывается скрупулезным портретированием того просвещенного разума, который в самом себе обнаруживает только *волю к власти*, только жестокость поработанной природы, о чем еще позже скажет Ницше, и тогда уже от этого нельзя будет запросто отмахнуться.

Мораль в мире разума становится невозможной потому, что разум сам по себе не определяет цели, но только подыскивает верные средства к уже существующим целям, источ-

²⁷ Там же. С. 70.

²⁸ Там же. С. 22–23.

²⁹ Там же. С. 23.

³⁰ Там же. С. 112.

ник которых неясен (якобы неясен, на самом деле он коренится в поработанной природе – как воля к власти, бессознательная тяга к реваншу, точно в нацистской Германии). Позже Хоркхаймер назовет это инструментальным разумом – разумом, подходящим к миру как к средству, но не как к цели. Именно проект Просвещения привел к тому, что целеполагание вышло из-под власти разума, а последний стал полностью инструментальным. Просвещенное расколдовывание мира на деле приводит к его релятивизации: «Все эти следствия в зародыше уже содержались в амбивалентной буржуазной идее толерантности. С одной стороны, толерантность означает свободу от догматического авторитета; с другой же – она укрепляет нейтральное отношение к его духовному содержанию, которое тем самым релятивизируется. Всякая культурная область сохраняет свой „суверенитет“ в отношении универсальной истины. Структура общественного разделения труда автоматически переносится в жизнь духа. Это разделение в сфере культуры – прямое следствие вытеснения всеобщей объективной истины формализованным, внутренне релятивистским разумом»³¹.

В итоге Просвещение приводит западный мир к парадоксальной «безголовой» философии, техничной и научно подкованной, могущей и умеющей делать всё что угодно, кроме одного – определять свои цели, видеть свои основания, подходить к миру с объективной и целостной стороны. Инструментализируясь и релятивизируясь, мир расщепляется на мириады разрозненных частей, атомизированных индивидов – без разницы, индивидов-вещей или индивидов-людей, потому что человек и есть вещь, ведь нет такой объективной ценностной парадигмы, которая могла бы утверждать обратное. Такова диалектика Просвещения: «Человеческое существо в процессе своей эмансипации разделяет судьбу остального мира. Господство над природой приводит к господству над человеком. Так как каждый субъект не только в должен принимать участие покорении внешней природы, но для этой цели должен также покорять природу в самом себе, господство превращается в «интернализованное» господство ради господства»³².

Поработав природу, человек поработавает самого себя. Автономизируя разум, человек делает его подчиненным, служащим средствам и не знающим о собственных целях. Попирая темные мифы, полные насилия и жестокости, разум приходит к тому, что становится полностью аморальным, ибо мораль сущностно неразумна. Относясь ко всему вокруг себя как к вещи, человек сам становится вещью. Насилюя мир, он делает возможным и даже желательным насилие над самим собой. Поэтому и прав да в истоках у просвещенной и высокотехнологизированной западной цивилизации много общего с не менее развитым и научным нацизмом: и там и там торжествует *возвращенная природа*, получившая в свои руки невероятное по мощи своей орудие – разум, который, как настоящий идиот, понятия не имеет, что он делает и зачем, зато очень хорошо знает *как* – к примеру, как делать из людей мыло, как научать человеко-животных истинной демократии и так далее.

Суть диалектики в том, что человек как был, так и остается одновременно и природой, и духом, поэтому, когда он забывает об одной из своих основ, она, даже уведенная в тень, не перестает существовать и действовать, тайно направляя пути той части, которая остается на свету. Великая глупость просвещенного разума, составляющего фундамент европейской и североамериканской цивилизаций, состоит в том, что он изо всех сил постарался забыть свою истинную амбивалентную природу, тем самым дав самым жутким своим сторонам возможность действовать в обход сознания и рефлексии. Хуже злодея, который знает, что он злодей, только злодей, который о своем злодействе не знает. Возможно, разница между Востоком и Западом проходит как раз-таки по этой границе.

³¹ Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. – М.: Канон+, 2011. С. 25.

³² Там же. С. 110.

*

Можно сказать, такова судьба: изначальная сложная двойственность разумного человека приходит со временем к упадку простой нерелексирующей односторонности. С учетом диалектики Просвещения мы можем наконец охарактеризовать историческую сцену на которую вышли битники в середине XX века, словами франкфуртца Герберта Маркузе – как *одномерную цивилизацию*, место обитания одномерного человека. И хотя одноименная книга не без грома и молний появилась только в 1964 году, когда многие акты нашей драмы уже были сыграны и дело шло к закату, всё-таки анализ Маркузе имеет касательство ко всей американской ситуации начиная с «золотой эпохи» после Первой мировой войны. Обращая внимание на существо данной одномерности, мы должны держать в голове простое правило: всё нижесказанное будет воспринято бит-поколением как враждебные формы, как то, что должно преодолеть.

Итак, вот сцена, которую строит Маркузе: «Развитая индустриальная цивилизация – это царство комфортабельной, мирной, умеренной, демократической несвободы, свидетельствующей о техническом прогрессе»³³. И далее: «В этом смысле экономическая свобода означала бы свободу *от* экономики – от контроля со стороны экономических сил и отношений, свободу от ежедневной борьбы за существование и зарабатывания на жизнь, а политическая – освобождение индивидов *от* политики, которую они не могут реально контролировать. Подобным же образом смысл интеллектуальной свободы состоит в возрождении индивидуальной мысли, поглощенной в настоящее время средствами массовой коммуникации и воздействия на сознание, в упразднении „общественного мнения“ вместе с теми, кто его создает. То, что эти положения звучат нереалистично, доказывает не их утопический характер, но мощь тех сил, которые препятствуют их реализации. И наиболее эффективной и устойчивой формой войны против освобождения является насаждение материальных и интеллектуальных потребностей, закрепляющих устаревшие формы борьбы за существование»³⁴.

Ценности Просвещения, они же американские ценности, которые не без иронии возводят себя к фундаментальной идее свободы, действительно являют собой очень внушительный ряд революционных свобод: свобода от самостоятельности (вопреки кантовскому определению просвещения как выхода из состояния несовершеннолетия), свобода от выбора (вопреки демократии, не имеющей, впрочем, никакого отношения к своей греческой тезке), *свобода от отрицания* (вопреки банальной антропологии, не могущей, будучи честной, пройти мимо антропогенности сущностно негативного воображения). Проще говоря, либеральный эгоистический мир, сводящий сложного человека к одноклеточной простоте индивида, взятого вообще и по модулю, мир, ставящий, следовательно, во главу любого угла шкурный индивидуальный комфорт, ради подобной ловкой редукции должен устранить в человеке всякое качественное (ведь все равны) и отрицающее (ведь надо быть политкорректным) измерение. Еще проще: надо вообще редуцировать всякое измерение, могущее как-то поколебать абстрактную чистоту нормативного индивида, дать ему нежелательный, а может и разрушительный объем. Человек должен стать одномерным, ибо одномерный человек – это и есть основополагающий (то есть основоположенный) индивид либерально-просвещенческой догматики.

Такой индивид, как ни странно, теряет ту самую способность, которая была знаменем философского просвещения, – я говорю о рефлексии. Одномерный человек не рефлексирует,

³³ Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: АСТ, 2009. С. 17.

³⁴ Там же. С. 21.

ведь *рефлексия негативна*: на по необходимости ставит под сомнение всякое свое содержание, следовательно, отрицая его как непреложную данность, воспринимая его только в вопросительном модусе. Это кое-что проясняет в той поистине аллергической реакции, которую у либерального индивида вызывает старая-добрая философия – она, безусловно, есть его смерть, ибо суть ее в силе сомнения, противоположного той позитивной догматике, которая только и делает абстрактного либерального индивида существующим. Разумеется, то же относится и к искусству, которое питается силами негативного воображения. Философия фиктивна, искусство – просто фантазия, и с тем в просвещенном одномерном мире воцаряется абсолютный, тщательно очищенный от теоретических импликаций эмпиризм, настроенный в высшей степени утвердительно и позитивно по отношению ко всякой данности: есть то, что есть, и третьего не дано. И пока этот выхолощенный позитивизм бежит любой диалектики, как огня, сама диалектика в тайне от его нерелексирующего взора играет им, как дьявол тем, кто мыслит неточно (по присказке М. К. Мамардашвили).

Итак, одномерный человек, просвещенный либеральный индивид, лишен измерений, избавлен от тяжести качеств, отличий и, по Музилу, свойств. Не релексируя, он не сомневается в том, что есть, ибо есть то, что есть, как утверждает его религия, бытовой нетеоретический эмпиризм, вера счастливого сознания. Никакой философии, никакого искусства – ибо нельзя назвать искусством конвенциональную поп-культуру, функционирующую на коммерческом конвейере клишированных форм, – никакой политики, ибо мы живем в лучшем из миров, а лучший из миров имеет леденящий привкус кока-колы. Одномерный человек счастлив тем, что он живет в комфорте и праздности, но это счастье животного, некий овощной триумф высшего отказа от самой возможности отказывать и отказываться, последний забег от свободы – в рай утопической телереальности, в которой ведущие толкуют твои сновидения и рекламщики угадывают твои желания. Мир бабл-гам, как он есть от рождения Христова до рождения Микки Мауса, которое, как мы знаем, грянуло в 1928 году, за год до паники на Уолл-стрит.

В конечном итоге, примат позитивной одномерности пронизывает собой весь язык, который к тому же дом Бытия: «Посредством такого аналитического лечения последний (язык) действительно стерилизуется и анестезируется. Многомерный язык превращается в одномерный, в котором различные, конфликтующие значения перестают проникать друг в друга и существуют изолированно; бушующее историческое измерение значения умиряется»³⁵. Это делает ситуацию поистине критической, ведь именно в языке человек конструирует тот самый мир, который он якобы воспринимает, – мир этот неотделим от структуры значений, в которых он дан символическому порядку мышления. Инфицировав сам этот символический порядок, одномерная цивилизация добирается до самых основ человеческого существования. И что же тут странного, если именно с языка только и могут начаться процессы, вставшие к одномерному миру в революционную оппозицию?

³⁵ Там же. С. 263.

Часть вторая: новое видение

«Во многом мы имитировали старую традицию русского авангарда – Есенина, Маяковского. Мы слушали их записи. В 1965 году Евтушенко подарил мне диск с записями Маяковского, который я до сих пор храню. Русская классика конца XIX века тоже оказала большое влияние на писателей бит-поколения. В тринадцать лет я прочитал всего Достоевского, Керуак и Берроуз позднее сделали то же самое. Кроме этого, я читал переводы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока. В середине 40-х годов я увлекся французскими сюрреалистами, а в 1948 году прочитал Антонена Арто. В 50-е годы мы начали интересоваться восточной литературой, философией и религией. Бит-культура основана на разных традициях, не только на американской. Это не было наивным движением. Мы имели возможность путешествовать. Берроуз провел 30-е годы в Европе, в Германии и Вене, он видел Веймарскую республику, зарождение нацизма, приход к власти Гитлера. Он женился на еврейке, чтобы спасти ее от концлагеря, и привез ее в Америку. Потом он жил в Мехико и в Танджуре³⁶. Мы с Питером полтора года прожили в Индии, потом жили в Японии... Каждый из нас был специалистом в какой-то области: Берроуз – в полицейской и государственной системе, наркотиках, гомосексуализме; Керуак был знатоком деревенской жизни американского миддл-класса; я был специалистом по русской, еврейской и американской литературе, по Уильяму Блейку, интересовался мистицизмом и немного политикой; Гэри Снайдер специализировался в экологии, был знатоком природы, десять лет изучал китайский и японский... Мы были хорошей командой!»

Аллен Гинзберг – из интервью Я. Могутину.

«Битый означает не столько усталый, вымотанный, сколько beato – итальянское обозначение блаженности: состояние блаженства, как у Св. Франциска, пытавшегося любить всю жизнь, быть предельно искренним со всеми, практиковать терпимость, доброту, культивировать радость сердечную. А как это можно достичь в нашем безумном современном мире многообразий и миллионов? Только практикуя чуточку одиночества, когда время от времени уходишь сам по себе, чтобы застись самым ценным золотом на свете: флюидами искренности».

Джек Керуак – «Агнец, не лев».

«У меня среди битников есть близкие друзья: Джек Керуак, Аллен Гинзберг и Грегори Корсо. Мы дружим много лет, но не сходимся ни в мировоззрении, ни в литературной деятельности. Мы поразительно разные. Дело тут в общности противоположностей, а не творческих принципов или взглядов на жизнь. Что до литературного значения битничества, то, думаю, оно не столь очевидно, как его общественное значение... Битничество преобразило мир, населив его битниками. Движение битников смело социальные барьеры и стало международным феноменом огромной важности. Битники

³⁶ Sic!

отправляются куда-нибудь, скажем в Северную Африку, и выходят на контакт с арабами на уровне куда более фундаментальном, нежели белые поселенцы, до сих пор мыслящие понятиями Лоуренса Аравийского. Битничество – важный социальный феномен, мировой социальный феномен».

Уильям С. Берроуз – из интервью Д. Ожье.

В своем романе «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанд Селин описывает Нью-Йорк, столицу XX века, следующим образом: «Представьте себе город, стоящий перед вами стоймя, в рост. Нью-Йорк как раз такой. Мы, понятное дело, видели порядком городов – и даже красивых, немало портов – и даже знаменитых. Но у нас города лежат на берегу моря или реки, верно? Они, как женщина, раскидываются на местности в ожидании приезжающих, а этот американец и не думает никому отдаваться, ни с кем не собирается спариваться, а стоит себе торчком, жесткий до ужаса. Короче, мы чуть со смеху не лопнули. Тут поневоле расхохочешься: город встоячку – это же умора»³⁷. Эрегированный, заряженный город. Неудивительно, что новейшие течения в мировой художественной жизни послевоенных лет стали плодиться именно здесь, а не во фригидной Европе.

Интересующие нас битники также обязаны этому месту своим возникновением в качестве культурного феномена. Изначально то, что лет через десять превратится в целое поколение, представляло собой нескольких молодых людей, собравшихся вокруг расположенного на самом Манхэттене Колумбийского университета – созданный в 1754 году, он был даже старше самих Соединенных Штатов, – кто-то на правах студентов, кто-то просто так, для души. Живым центром компании был юноша по имени Люсьен Карр. Обворожительный, эксцентричный, умный, свободолюбивый, он был достаточно яркой персоной, чтобы среди серого цивилизованного студенчества собрать вокруг себя таких же нестандартных и взрывоопасных молодых людей, каким был и он сам. Мы знаем, как звали главных из этих людей: Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз.

Ирвин Аллен Гинзберг родился 3 июня 1926 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его отцом был поэт Луис Гинзберг, мать Наоми была коммунисткой с очень слабым душевным здоровьем (поэма «Каддиш» посвящена ее болезни и страданиям). У Аллена был старший брат Юджин, рожденный в 1921 году. Влияние Наоми на детей было своеобразным, но сильным. К примеру, она была убежденной нудистской. Будучи секретарем партиячейки, она часто брала Аллена на коммунистические собрания (он вспоминает об этом в поэме «Америка»). Вообще, изначально Гинзберг был скорее на хрупкой и болезненной стороне матери, нежели на степенной и рациональной стороне отца. Как отец, он стал поэтом (и поэтом, в разы лучшим, чем его отец), но он стал совершенно безумным поэтом – как его мать.

Еще в школе Аллен открывает для себя поэзию Уолта Уитмена, которая окажет на него определяющее влияние. Также рано он осознает, что его сексуальный интерес отличается от того у его сверстников. Аллен штудировал книгу Крафта-Эббинга и понимает, что он гомосексуалист. Это более тревожно, чем неожиданно: в то время подобное считалось, в полном соответствии с названием той самой книги, *сексуальной психопатией*. Видимо, в тот самый момент Гинзберг уверился в собственной неполноценности.

В 1943 году он поступил в Колумбийский университет, полагая тогда стать юристом. Сразу же он знакомится с Люсьеном Карром – тот громко слушал Брамса, что привлекло внимание Аллена. Осведомленный во всем том, что еще только завтра станет поистине модным в Америке, Карр познакомил Гинзберга с высоким европейским искусством – Сезанн, Рембо и многое, многое другое. Но самое главное, Карр познакомил Аллена с иной жиз-

³⁷ Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. М.: АСТ, 1999. С. 194–195.

ню, которая велась преимущественно ночью, где-нибудь в Гринвич-Виллидж, желательно в сильно нетрезвом виде.

Люсьен был баловнем судьбы из богатой семьи. Он действительно много знал и многим интересовался, но сам, как и положено юной богеме, совершенно ничего не хотел делать (собственно, он ничего и не сделал – к *литературному* бит-поколению Люсьен Карр отношения не имеет). Он родился в Нью-Йорке, но вырос в Сент-Луисе – там же, где родился и вырос Уильям Берроуз. Там он и познакомился с Дэвидом Каммерером – человеком, который однажды изменит жизнь Люсьена к худшему. Каммерер был другом Берроуза. Будучи на шестнадцать лет старше Карра, он сразу же в него влюбляется, и эта страсть сохраняется долго, доходя порой до одержимости.

В 1944 году к их компании присоединяется Джек Керуак, тоже студент Колумбии, бывшая звезда местной футбольной команды. Полное его имя – Жан-Луи Лебри де Керуак, франкоамериканец (или франкоканадец) бретонского происхождения. Его родители приехали из Квебека, однако Джек родился в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. В силу происхождения родным языком Керуака был французский, точнее, его квебекский диалект (жуаль). Английский он освоил только после шести лет.

С раннего возраста Джек занимался футболом (американским, само собой), благодаря чему он и получил стипендию в Колумбийском университете (всё это подробно описано, скажем, в «Суэте Дулуоза»). Но очень скоро он покидает команду и, соответственно, университет из-за травмы, после чего уходит в торговый флот. Попытка же перейти в военный флот не увенчалась успехом (его сочли психически неадекватным), поэтому участия в войне Керуак не принимал.

Четвертым, считая Карра, завсегдаем компании был Уильям Берроуз, самый старший и опытный из всех. Даниэль Одье начинает свою книгу интервью с Берроузом следующим пассажем: «Уильям Берроуз родился 5 февраля 1914 года в городе Сент-Луис. Это писатель с мировым признанием, автор многочисленных книг: „Голый завтрак“, „Джанки“, „Голубой“, „Нова Экспресс“, „Интерзона“, „Дикие мальчики“, „Билет, который лопнул“, „Мягкая машина“, „Порт святых“ и т. д. Берроуз за свою писательскую карьеру сменил несколько мест жительства: Нью-Йорк, Мехико, Танжер, Париж, Лондон и Лоренс, что в штате Канзас, где и умер 2 августа 1997 года.

Он любил кошек».³⁸ Каждое слово правда.

Уильям Сьюард Берроуз, действительно, родился 5 февраля 1914 года в городе Сент-Луис, штат Миссури в среднесостоятельной буржуазной семье. Дед Берроуза (и полный его тезка) был изобретателем счетной машины и основателем компании «Burroughs Corporation» (ясно, почему сборник эссе его внука получит название «Adding Machine», то есть счетная машина). Несмотря на это, особенно большого наследства дед-изобретатель семье не оставил, умерев в достаточно раннем возрасте.

Писать он, по собственному признанию, начал рано, но так же рано и бросил – до поры. Берроуз получает высшее образование в Гарвардском университете – здесь четыре года, с 1932-го по 1936-й, он изучает английскую литературу, но этим его гуманитарные интересы не исчерпываются – к примеру, его занимает этнология, что позже даст свои плоды. Сразу после окончания обучения будущий писатель путешествует по Европе, в Вене даже посещает медицинскую школу – отсюда уверенное владение предметом и терминологией, являющее себя в пространственных и частых фармакологических и анатомических отступлениях в том же «Голом завтраке». Сразу после возвращения в США, благо позволяли родительские средства, Берроуз получает второе образование, на этот раз антропологическое, в том же Гарварде. Во время войны, в 1942 году, Берроуз призывается добровольцем в армию Соеди-

³⁸ Одье Д. Интервью с Уильямом Берроузом. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – С. 4.

ненных Штатов, однако долго там не задерживается – опять-таки не без помощи родителей ему удастся демобилизоваться по негодности. Впрочем, это не мешает ему немногим позже воспользоваться краткой военной службой и продолжить образование по G. I. Bill, американской программе бесплатного образования для бывших военнослужащих.

Пятым персонажем в компании была Джоан Воллмер – будущая жена Берроуза, брак с которым обернется для нее трагедией. Молодые люди развлекаются и хорошо проводят время, насыщаясь богатой и яркой ночной жизнью Нью-Йорка, но в то же время они находят силы для долгих и увлеченных дискуссий об искусстве, желая сказать что-нибудь несказанное, что-то, что получает размытое обозначение *Нового Видения*³⁹.

Характеры битников были столь несходны, что такой взрывной пестроте можно было бы только порадоваться. Вот с фотографии на нас смотрит доброе, смешливое лицо – широкий взгляд, полуулыбка. Гинзберг был дружелюбен, общителен и великодушен – для многих и многих бит-литераторов он был опорой, и менеджером, и рекламщиком.⁴⁰ Человек неумной энергии, он легко становился лидером групп, движений, порою и масс. Он вошел в литературу без труда и стеснения, так, что сразу занял себе место классика. Им он и стал уже ко второй декаде своего творческого пути. Гинзберг – безусловный лидер, душа разбитого поколения.

Вот другой: красивый (а самым красивым мужчиной признал Керуака даже Сальвадор Дали), спортивный, задумчивый; в нем видели рокового мачо, а сам он был тихим, застенчивым и скромным человеком, в душе ребенком – до самого конца. Казалось, он выходил из себя и бежал на далекий простор только для того, чтобы вернуться к себе, закрыться в своем одиночестве и без остановки писать о своем интимнейшем опыте. Кто мог поверить, что именно он и прославит свое поколение? Одно очевидно: не он сам. Романтик, католик, несчастный скиталец, с тихим, спокойным, но таким энергичным литературным голосом. Джек Керуак был сродни смиренному и молитвенному шепоту среди громокипящей индустриальной преисподней.

А вот Билл Берроуз. Наверное, но родился стариком, мудрым и знающим всё наперед – от алфавита до внутренностей черных дыр. Костистый, сухой, неторопливый, с гипнотически размеренной речью, Берроуз выглядел как советский шпион, как серийный убийца, как гуру. Для битников он был непререкаемым авторитетом – в первую очередь потому, что он попробовал всё, никогда не жалея себя в ходе своих пугающих экспериментов. Уильям С. Берроуз – это мозг разбитого поколения, тот самый, кого иногда называют злым гением.

*

И в том же самом, 1944 году, когда все главные разбитые уже были в сборе, случилась первая в их совместной истории трагедия. 14 августа Люсьен Карр убил Дэвида Каммерера, несколько раз ударив его ножом, затем попытавшись утопить тело в Гудзоне. По рассказам Карра, неуравновешенный Каммерер пытался изнасиловать его в Риверсайд-парке. Во всяком случае, Дэвид действительно был болезненно одержим Карром и поэтому, прознав,

³⁹ Четкого определения этого понятия никто из битников так и не оставил. Всё сводится к тому, что Новое Видение – строго негативная категория: не настолько видение, насколько новое, во всем отличное от старого. Глядя по сторонам и возмущаясь упадку современной жизни – особенно на фоне того искусства, которым все они были захвачены, – будущие битники жаждали сформулировать что-то, что было бы правильным, подлинным, верным. – *Miles B. Allen Ginsberg: Beat Poet*. – Virgin Books, 2010. – P. 45.

⁴⁰ «На счету Гинзберга множество революционных открытий и изобретений, главным из которых является паблисити. Юный Гинзберг был гениальным промоутером и наверняка мог бы достичь неплохих успехов в сфере public relations или шоу-бизнеса, но, конечно, в лихие 50-е годы никто не мог даже представить, насколько огромны могут быть дивиденды от его энергичной и агрессивной саморекламы». – *Могутин Я.* 30 интервью. – СПб.: Лимбус Пресс, 2001. С. 17.

что тот вместе с Керуаком намеревался уплыть в Париж, мог пойти на многое, чтобы заставить Люсьена остаться.

Трагические события лета 1944 года описаны в совместном романе Керуака и Берроуза под загадочным названием «И бегемоты сварились в своих бассейнах». Впрочем, загадка пустяшная: авторы услышали эту хитрую фразу в радионовостях о сгоревшем зоопарке, и она им (точнее, Берроузу) понравилась. Роман был написан по горячим следам, в 1945 году, но был опубликован душеприказчиком Берроуза Джеймсом Грауэрхольцем только в 2008 году.

Повествование делится строго пополам: Берроуз пишет главы от лица Уилла Деннисона, а Керуак – от лица Майка Райко. Деннисон – бармен, устраивающийся на работу частным сыщиком (биографический факт), Райко – моряк, при этом почему-то рыжий финн. Люсьен Карр здесь представлен как Филип Туриан, наполовину американец и наполовину турок. Каммерер – это Рэмси Аллен, стареющий, седовласый, печальный. В основном Туриан рассуждает о том, что идеальное общество должно состоять из художников, а Артур Рембо – это бог, а Аллен грустит о своей неразделенной любви к Туриану, думая о том, как помешать ему отчалить с Райко во Францию на торговом судне. Заканчивается всё почти как в жизни, разве что Туриан, в отличие от Карра, убивает Аллена – Камеррера молотком в лоб, а не ножом в сердце, сбрасывает тело с крыши, а не в Гудзон, в итоге его сажают в психбольницу, а не в тюрьму. Вопрос о художественных достоинствах этого опуса я пропущу.

Известно, что нечто подобное по следам убийства хотел написать и Аллен Гинзберг – вещь должна была называться «Песнь крови», и Гинзберг вел подготовительную работу в дневниках. Однако, прознав о том, декан Колумбийского университета настоятельно рекомендовал Аллену бросить это дело, тот последовал настояниям власть имеющего – и правильно, видимо, сделал.

В реальности история закончилась бесславно. Карр был отправлен за решетку, туда же чуть-чуть не попал Керуак, которого готовы были признать в качестве соучастника. Берроуз на время покинул Нью-Йорк. Аллен Гинзберг окончательно понял, что он – поэт.

Его ранние работы, конечно, скорее ученические, чем гениальные, но по ним хорошо видна внутренняя авторская мастерская. К примеру, молодой поэт и не пытается скрыть, что два главных влияния на него оказали американские поэты Уолт Уитмен и Уильям Карлос Уильямс.

Уитмен, разумеется, вообще изобретает американскую поэзию с нуля. Прощание с рифмой,⁴¹ свободная строка, подчеркнутая предметность и вещественность содержания, а также предельная вольность в морали и этике⁴² – всё это ушло в последующую американскую поэзию на правах фундаментальных ее основ. Уитмен, как власть имеющий, выступает в роли такого национального художественного пророка: «С превеликой убежденностью и невозмутимостью Уитмен утверждает, что письмо фрагментарно и что *американскому* писателю следует писать фрагментами»⁴³. Гинзберг возьмет себе все вышеперечисленные элементы и попытается довести их до некоторого если не мыслимого, то скорее чувствуемого предела. Так, биограф Нили Черковски назовет битников *дикими детьми Уитмена*.

⁴¹ «То новое содержание, которое Уолт Уитмен внес в мировую поэзию, потребовало от него новых, невиданных форм. Уитмен – один из самых смелых литературных новаторов. Он демонстративно отверг все формы, сюжеты и образы, завещанные литературе былыми веками. Он так и заявил в своем боевом предисловии к «Листьям травы», что вся эта «замызганная рухлядь» поэзии – эти баллады, сонеты, секстины, октавы – должны быть сданы в архив, так как они с древних времен составляют усладу привилегированных классов, новым же хозяевам всемирной истории не нужно пустопорожней красоты...» – *Чуковский К. Мой Уитмен*. – М.: Прогресс, 1966. – С. 37.

⁴² «Он чувствовал себя освобожденным от всяких наваждений аскетизма. Он не был бы поэтом науки, если бы в природе человека признал хоть что-нибудь ничтожным и грязным. Он не был бы поэтом идеального равенства, если бы в отношении органов тела придерживался табели о рангах, разделив их на дворян и плебеев». – Там же. С. 38.

⁴³ *Делез Ж. Критика и клиника*. – СПб.: Machina, 2011. – С. 80.

Уильям Карлос Уильямс, как американский поэт одного из последующих поколений и, следовательно, поэт уитменовской школы, только усилит акцент на некоторых из этих изначальных тенденций. Уильямс – предтеча американской поэтической школы объективизма, значимой в 1930-е годы. Объективистская поэзия, как видно из названия, ориентирована на объект – вопреки, соответственно, романтическим субъективистским тенденциям, примату личной эмоции и настроения, которые последовательно вычищаются из произведения. Помимо романтизма, Уильямс и объективисты также противостоят поэтике Томаса Стернза Элиота (который и сам был видным антиромантиком), который, с их точки зрения, превращал поэзию в философию, заменяя предметы идеями и абстракциями. «Не идеи о предмете, но самый предмет», – скажет Уильямс.

Его интересует только одно – построение вещного, зримого, объемного и пластичного образа. Он стремится не декларировать, не комментировать, но показывать, делать мир видимым – в слове. Такая установка естественным образом меняет поэтические акценты: на место объемлющей картины мира приходит яркая, четко выписанная деталь.

Впоследствии Гинзберг познакомится с Уильямсом, в какой-то мере они будут дружны и близки. Но уже в ранний период своего творчества он демонстрирует поразительное сходство с поэтикой старшего товарища, пока еще просто коллеги. Вот стихотворение под названием: «Обеденный перерыв каменщиков», 1947 год:

«Два каменщика выкладывают стены
погребов в свежесделанной в глине
яме за старым бревенчатым домом
с коньками, затянутыми плющом,
на тенистой улице в Денвере. Полдень,
и один из каменщиков уходит.
Молодой подручный съел бутерброд,
отбросил бумажный пакет и празднично
сидит еще несколько долгих минут.
На нем брюки из саржи, он голый
до пояса, на голове у него
желтые волосы и засаленная,
но все же яркая красная кепка.
Он лениво сидит на лестнице,
прислоненной к его ширинке,
он широко расставил колени.
Голова опущена, без интереса
он смотрит на свой бумажный пакет, лежащий в траве.
Он проводит
по ребрам ладонью и после
медленно костяшками пальцев трет
подбородок и покачивается вправо-влево
на лестнице. Котенок подходит к нему
по вершине кладки. Подручный
берет котенка и накрывает его кепкой
на какое-то мгновение.
Тут же темнеет, как перед дождем,
и в ветви деревьев, стоящих на улице

чуть ли не грубо врывается ветер»⁴⁴.

Теперь сравним это со стихотворением Уильяма Карлоса Уильямса, оно называется «Классическая сцена», 1923 год:

«Здании электростанции
в форме
красного кирпичного кресла
высотой 90 футов
на сиденье которого
сидят фигуры
двух металлических
труб – алюминиевых —
возвышаясь
над жалкими лачугами
окрестных кварталов —
из одной трубы подымается
светло-коричневый
дым тогда как другая
под этими серыми
небесами
отдыхает сегодня»⁴⁵.

Сходства бросаются в глаза, ибо именно в глаза бросаются выписываемые в этих стихах визуальные сцены. Такова новая поэзия: она хочет довольствоваться малым, ожидая от этого многого – ее трогает и задевает действительный мир в мельчайших его деталях, и именно этот сокрытый от поверхностного субъективного взгляда мир деталей только и может претендовать на то, чтобы быть настоящим, невыдуманным. Таково новое видение: виденье просто, видение простого, предметного, которое скрыто за непроницаемой пеленой человеческих, слишком человеческих наслоений.

*

Рано начал писать и Джек Керуак. На изначальную – еще в интенции – целостность его творчества указывает то обстоятельство, что уже первый его текст, неоконченный и потерянный, потом найденный роман «Море мой брат» 1942 года чреват основными мотивами всех его последующих произведений. В центре повествования – или в одном из его центров, потому что текст по-керуаковски децентрирован, – находится Уэсли Мартин, моряк и бродяга. То, как этот персонаж походит на будущего Дина Мориарти, а также то, что в другом центральном характере, Билле Эверхарте, угадываются черты Аллена Гинзберга, указывает на своего рода мистику судьбы, ведь во времена создания «Моря» Керуак не знал ни Гинзберга, ни Нила Кэссиди...

Мартин – человек без корней, что символически выражено его семейной трагедией. Эверхарт, напротив, корнями богат, но жаждет от них избавиться. По всему видно, им суждено было встретиться, а итогом этой встречи стало дорожное путешествие к бостонскому причалу с целью устройства на борт торгового судна. Море, которое брат всем и каждому,

⁴⁴ Антология поэзии битников. – М.: Ультра. Культура, 2004. С. 107–108.

⁴⁵ Цитата по: *Зверев А.* Модернизм в литературе США. С. 115.

противостоит земле именно тем, что в нем корней не пустишь, а какие успел пустить на земле, здесь потеряешь – это текучая, гладкая, протеическая стихия, находящаяся в непрестанном гераклитовском коловращении и без устали смешивающая любые земные идентичности⁴⁶. Человек моря – это Никто, истинный протей без лица и без сущности, голый сын божий и новый, американский Адам, который может быть *любым* именно потому, что он никем в отдельности не является.

Однако и этот классический оптимизм богоизбранного Нового света может быть омрачен неуловимой тревогой – идет война, и где-то по водам всегда ходит хитрая, хищная смерть. Роман не закончен, потому мы вольны воображать себе любую концовку. Заманчиво, к примеру, представить, что «Вестминстер» оказался-таки торпедирован, и новоиспеченные братья нашли свой беспечный покой в морских глубинах. Это соответствует всем планам сразу: война, конечно, погубит мечту, и Новый Адам погибнет от залпов со Старого Света; тот, кто лишен всех корней, должен сгинуть в пучине морской, потому что он в некотором смысле уже в ней сгинул, стерев свое Я и порвав отношения со всем внешним миром; наконец, тот, кто хочет сбежать и оставить свои корни на земле, не найдет пути лучше, чем просто пойти ко дну, растворив в молчаливой стихии весь ворох своих глупых, ненужных воспоминаний... Однако же если бы этот роман был закончен, и если бы он был закончен именно так, то вряд ли Джен Керуак написал бы еще хоть строчку. Зачем, когда в первой же вещи с такой убедительностью явлены и начало, и конец? Однако он пишет – и, в отличие от первого опуса, публикует в 1950 году роман «Городок и город», на этот раз автобиографическое повествование, смешивающие два повествовательных плана: юные годы в промышленном Лоуэлле и взрослая жизнь в Колумбийском университете. И тут и там множество сцен и деталей из реальной жизни. Городок Лоуэлл, правда, назван здесь Гэллоуэем, однако Нью-Йорк остается Нью-Йорком. Главный герой Питер Мартин, как и его прототип Керуак, играет в школе в футбол и благодаря этому едет в большой город, в колледж. Во взрослой жизни его окружают знакомые нам персонажи: Аллен Гинзберг зовется Леоном Левински, Люсьен Карр – Кеннетом Вудом, Уильям Берроуз – Уиллом Деннисоном (как и в «Бегемотах»), Джоан Воллмер – Мэри Деннисон. Есть тут и Каммерер, падающий из окна комнаты Карра.

Многие отмечают, да и сам Керуак этого не скрывал, что «Городок и город» написан в подражание прозе Томаса Вулфа, который имел на Керуака первостепенное литературное влияние. Так, Джек как-то сказал в Вулфе: «Он открыл мне глаза на поэзию Америки, а не только на ее борьбу и кровавый пот». Томас Вулф, как позже и сам Керуак, был настоящим поэтом в области прозы. В своих импрессионистских произведениях он исследовал окружающий его американский мир, пытаясь запечатлеть его уносящийся облик. В этом было что-то от Пруста – так, и Пруст, и Вулф, и Керуак писали один большой живописный текст, формально разбитый на множество отдельных книг. В потоке сознания автора и одновременно героя-повествователя целый мир становится единым личным переживанием, обретающим свой первозданный лирический голос. Огромные эпопеи, они были призваны впервые дать голос всему миру в целом, но, как и мир каждого человека, это отдельные, разнообразные и не сводимые воедино миры. Так, «Легенда о Дулуозе» Керуака – такой же образ текущего времени, как и более ранние одиссеи Пруста и Вулфа, времени, которое в конечном итоге исчерпывает всё существующее, как несущийся водный поток (*о времени и реке*), – но кем должен чувствовать себя литератор, понимающий вдруг, что язык – как реальность еще более широкая и пластичная – оказывается в состоянии объять даже необъятное время?..

⁴⁶ «Море – это, возможно, принцип гладких пространств, гидравлическая модель по преимуществу». – Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. – М.: Астрель, 2010. С. 652.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.